ISSN 0131-6044

РОМАН-ГАЗЕТА

14 (1164) · 1991

Дмитрий Балашов

ОТРЕЧЕНИЕ

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Как вы знаете, с этого года наше издание получило статус народного журнала. Наши планы формируются при непосредственном участии десятков тысяч подписчиков, присылающих открытки в ответ на ежегодно публикуемые в «Роман-газете» рекомендательные списки литературы. Несмотря на удорожание бумаги, полиграфических расходов и услуг «Союзпечати», нам удалось сохранить прежнюю цену издания.

Сегодня «Роман-газета» — самый массовый и самый доступный журнал художественной литературы.

В последние годы большую помощь в нашей работе оказывают Клубы друзей «Роман-газеты», созданные в ряде городов: Перми, Омске, Самаре, Туле, Тирасполе, Николаеве. Члены клубов помогают в проведении анкетирования подписчиков, заочных читательских конференций, пропаганде тематических планов, в организации подписки на «Роман-газету». Периодически, по предварительной договоренности, члены редколлегии и авторы нашего издания — известные советские писатели — выезжают на места для творческих встреч с активистами клубов.

В дальнейшем редакция предполагает различные формы поощрения наиболее проявивших себя клубов, а также отдельных активистов: преподнесение в дар различных комплектов «Роман-газеты», выпусков популярных произведений с автографами авторов и членов редколлегии, организацию, по возможности, творческих встреч на местах с ведущими отечественными писателями.

Тех, кто создает у себя в городе, поселке или на предприятии Клуб друзей «Роман-газеты», просим известить нас.

Мы будем печатать адреса и фамилии наиболее активных членов клубов, участников фонда «Роман-газеты», проводить заочные встречи, читательские конференции на страницах журнала.

До новых творческих встреч!

В ответ на обращение читателя В. Огнянникова из Кривого Рога, опубликованное в «Роман-газете» № 7, в редакцию поступили (и продолжают поступать) сотни писем, одобряющие предложение о материальной поддержке «Роман-газеты». Общественный Фонд Народного Чтения создан. Его цель — содействие в пропаганде и распространении нашего издания, поощрение подписчиков-ветеранов, помощь в оплате подписки инвалидам и другие акты милосердия, а также проведение мероприятий по пропаганде и поддержке серьезного чтения.

Сообщаем расчетный счет Фонда: 500345089 в ИНКОМБАНКЕ, кор. сч. 161502 МГУ ГБ РСФСР, г. Москва, код 83. МП «Роман-газета» с пометкой «ФОНД».

РОМАН-ГАЗЕТА
НАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
МОСКВА
14 (1164)·1991
Основана в 1927 г.

Дмитрий Балашов

ОТРЕЧЕНИЕ

Роман

(Окончание)

Глава 11

Отправленное в Константинополь посольство Алексия — Данило Феофанович и двое владычных бояринов: Аввакум и Иван Артемьевич Коробьин,— пристава в Галате.

Смутно — за тускло сияющей ширью Золотого Рога, уставленного темными очерками кораблей,— громоздился огромный город в редких огнях, город, где была София, храм Апостолов, Влахернский дворец — все, что гляделось воспоминанием, смутным видением былого величия, утонувшего в ночных, окончившихся веках...

Назавтра в легкой лодье посольство переправилось через Золотой Рог (где качало и заплескивало волнами) и наконец ступило на священную землю города.

Данило Феофаныч уже бывал в Цареграде и теперь, подозвавши к себе Ивана Артемьева, показывал ему то и другое, неспешно поясняя и отмахиваясь от нищих побирушек, что целою толпой бежали вослед послам. Так дошли до Софии. Предупрежденный заранее, их встретил патриарший клирик.

В Софии обняла огромность. Иван прямо кожею чувствовал то, что говорилось многими русичами, воротившимися из Царьграда,— что под куполом Софии возможет уместиться весь Кремник московский. Весь не весь, но грандиозность и высота храма, а также как бы висящий в дробном ожерелии света из опоясывающих его окон купол Софии — подавляли.

Как и все прибывающие в Царьград русичи, они обошли все святыни храма: железные лестницы, столбы, орудия страстей Господних, вериги знаменитых святителей, чтимые чудотворящие образа.

Прямо из храма их провели в патриаршьи покои. Послы подымались по узким каменным лестницам, шли под сводами из плит тесаного камня, миновали палаты с резным, в камени созижденным, обрамлением дверей.

Хоромы патриарха, расположенные тут же, на катихумениях, опоясывающих Софию почти на уровне подпружных арок самого храма, оказались и невелики и тесны. Филофей успел уже снять верхнее торжественное облачение, в коем служил, и переодеться в простой, хотя и шелковый монашеский гиматий, щеголяя теперь нарочитою простотою облика. Несколько клириков, видимо чины секретов патриархии, сидели рядом. Русичам предложили виноградное кислое питье, сыр и фрукты. Иван Коробьин взял кусочек вяленой дыни и долго жевал, удивляясь чуть вяжущей влажной сладости, совсем непохожей на вкус тех

Начало см.: «Роман-газета», 1991, № 13.

крепко засушенных дынных плетей, что привозили на Москву армянские гости из Герата, Казвина и Бухары.

Данило Феофаныч с Аввакумом передали послания Алексия и князя Дмитрия, требовавшие патриаршего отлучения от церкви русских князей, поднявшихся вкупе с Ольгердом противу Москвы. Молодшие внесли увесистый сундучок с новгородскими гривнами, при взгляде на который лица председящих вкупе с Филофеем заметно оживились. Вослед за тем Данило, а за ним Аввакум долго и обстоятельно изъясняли княжеские и владычные трудноты, говорили о тверских и Ольгердовых пакостях и о том, что торжество Литвы послужило бы к умалению веры православной...

Прием был закончен после того, как Филофей Коккин обещал, приняв все сказанное к сердцу, помыслить и в скором времени дать ответ, который будет, как он надеется, угоден кир Алексию.

Спускались по долгим каменным лестницам и тем же пешим ходом шли к месту своего ночлега, установленного на другом конце великого города, в Студитском монастыре. Так что удалось пройти по всей Месе, от форума к форуму, разбегающимися глазами ухватывая то статуи, то полуобрушенные портики древних дворцов, то открытые лавки ювелиров, ткачей, оружейников, выставлявших свой товар на обозрение разноплеменной и разноязычной толпе, невзирая на слякотную сырь, заполнявшую улицы столицы православного мира.

Ночевали в каменной, сырой по зимней поре келье и долго кутались во все теплое, что взяли с собой. Молодые русичи не спали, делясь вполгласа цареградскими впечатлениями. Иван Артемьич расспрашивал отца Аввакума о константинопольских святынях, меж тем как уходившийся за день Данило Феофаныч уже давно храпел и высвистывал носом, вытянувшись на тощем тюфяке твердого деревянного ложа своего.

Глава 12

Вечером этого дня, обсудив и паки обсудив с начальниками секретов московское ходатайство, Филофей Коккин остался один и тяжко задумался. Он велел вызвать Киприана, ставшего за эти десять лет его правою рукой, и пока тот не пришел, все сидел и думал, полузакрыв глаза, иногда чуть вздрагивая, хотя в келье от принесенной со двора жаровни, полной углей, и было тепло.

За шесть лет, протекших со дня его вторичной интронизации на престоле византийских патриархов, содеяно было немало. Состоялась, невзирая на сопротивление Палеолога, канонизация преподобного Григория Паламы. Отлучен от церкви Прохор Кидонис, сторонник западной латинской ереси (ибо ничем иным нельзя назвать то, что вершат римские папы, мнящие себя поставити на место Господа!). Устрояется вновь и уже близок союз с сербскою и болгарскою церквами, о чем деятельно хлопочет все тот же незаменимый Киприан Цамблак. Проклятия, наложенные на братские православные церкви недальновидным Каллистом, сняты, и недалек день, когда вновь объединенные его рачением православные митрополии и патриархии понудят своих неразумных монархов сплотиться и противустать грозному натиску мусульман, захватывающих область за областью и уже угрожающих самому существованию Сербии с Болгарией. Нынче он учредил в западной части Валахии вторую митрополию во главе с преданным ему Даниилом Критопулосом (нынешним митрополитом Анфимом), поелику глава первой валашской митрополии, Иакинф, подчинялся больше своему князю, нежели патриарху константинопольскому.

Но все портил и портит Палеолог! Распутный василевс, суетно мечтающий подчинить себя Риму, дабы бремя несносных для него государственных забот спихнуть хоть в чьи-то иные руки! Нынешней осенью, восемнадцатого октября, он подписал в Риме (страшно подумать!) символ унии — объединения западной и восточной церквей, иными словами, полного подчинения восточной православной церкви богоотметной западной! Того ли добивался великий старец Палама?

Спасибо Кантакузину (нынешнему старцу Иоасафу), который, сидя в горе Афонской, рассылает по всем городам послания, призывающие склонить слух к учению почитателей исихии, и тем укрепляет паки и паки истинное православие в землях империи ромеев...

Но на какой тоненькой ниточке все сие держится до сих пор! Стоит легкомысленному Иоанну V захотеть... Или захотеть его недобрым советникам, или захотеть генуэзской Галате... Боже мой! И весь измысленный им столь премудро союз православных народов и государей обратится в ничто!

И теперь! Алексий требует от него ни более ни менее как отлучить от церкви противящихся московскому князю володетелей!

Поможет ли сие отлучение? Или паки воздвигнет нелюбие в русской земле и оттолкнет от патриархии столь надобные ей союзные силы? И как поведет себя Ольгерд, суровый Ольгерд, во владениях коего истреблена власть татарского царя, Ольгерд, уже захвативший Киев и всю Подолию, почти добравшийся до моря?! Ольгерд, коему стоит только принять православие, и страна его станет сильнейшей православной державой среди всех ныне существующих на земле!

Он, Филофей, уже раз предал Алексия. Предал друга. И друг его простил, не упоминая о том никогда и ни по какому поводу. Предал в тот час, когда мысленно (о, только мысленно! Но Господь читает и в душах!), мысленно оставил его умирать в киевской яме, из коей токмо чудо и воля московитов спасли его, охранив от неминуемой смерти... Неужели надобно предать Алексия во второй раз?!

Киприан вошел сдержанный, неправдоподобно спокойный пред тою бурею чувств, что бушевала в душе Коккина, с расчесанною, волосок к волоску, бородою, в строгом опрятном облачении схимника. Поклонил, сел в предложенное креслице. Замер, глядя строгими глазами в страдающие очи патриарха.

— Будь мне не советником, не помощником в делах, как доднесь! Будь мне другом! — воззвал Филофей с душевною мукою.— Я должен, должен ему помочь! Владимирское княжение станет со временем оплотом православия в землях полуночных...

— Или Литва! — спокойно возразил Киприан. И Филофей вздрогнул, ужаснувши тому, что Киприан повторил словесно запрятанное в тайная тайных его души.— Ежели литовских князей удастся крестить! — твердо докончил Киприан, не опуская взора, и, помолчав, тихо добавил: — Чего, чаю, никак не возможет свершить кир Алексий!

— Да, да, ты прав, ты, конечно, прав! Да, да...— жарко заговорил Филофей, водя глазами по спокойному лицу помощника и инквизитора своего.— Да, ты прав! И уже король польский, Казимир, требует поставить особого митрополита на западные, подчиненные ему епархии, угрожая в противном случае обратить тамошних русичей в католичество...

— Было послание?! — Киприан поднял бровь, что у него служило знаком скрытой обиды.

— Будет! — возразил Филофей.— Мне донесли... Я не успел о том поведать тебе...

Киприан легким кивком принял извинение Филофея. Уже давно все дела патриархии проходили через его, Киприановы, руки.

— Но я не могу, понимаешь, не могу предать Алексия! — горячо, убеждая и себя самого, возразил Филофей.

— Для торжества православия даже престолы, а паче того отдельные лица, хотя и облеченные высоким саном,— ничтожны! — отверг Киприан, все так же строго и настойчиво взирая на мечущегося в огне уязвленной совести Филофея. Он сидел выпрямившись, легко уронив на подлокотник руку с перстнем-печаткою. Сидел, ухоженный и строгий, полный скрытых, контролируемых разумом сил, и ждал единого истинного, как полагал он, решения, отдающего далекого московского митрополита в руки судьбы.

Филофей затряс головою:

— Нет, нет! Я исполню просимое Алексием! Я должен сие совершить! И потом, кто знает, примет ли православие Ольгерд?

— Половина его потомков крещены! И старший сын — крепкий страж православия! — чуть надменно возразил Киприан.

— И все-таки, ежели они, Ольгерд с тверским князем, не сумеют враз покончить с Москвой, греческая патриархия потеряет для себя навсегда Владимирское княжество! — возразил, обретая силу голоса, Филофей.— Нынче мы должны помочь кир Алексию! — Он приодержался и сумрачно поглядел на сожидающего конца патриаршей речи и пока еще ничем не убежденного Киприана.— Но затем... Ежели грамоты мои не возымеют успеха... Затем — и невдолге, может быть, уже теперь! — я пошлю тебя, сыне, в Литву, дабы ты возмог содеять там то, чего никогда не содеет кир Алексий, смертно ненавидимый Ольгердом!

— Повелишь ли ты мне, отче,— медленно вопросил Киприан,— вернее скажу, разрешаешь ли ты мне испытать всякие и любые средства для достижения великой цели: приобщения к православию княжества Литовского?

Филофей судорожно сглотнул внезапно пересохшим ртом и вымолвил, скорее прошептав, чем воскликнув:

— Да!

— Когда же?! — вновь с неотвратимой настойчивостью вопросил Киприан. Филофей поставил локти на стол, закрыл лицо руками.

— Не сейчас, сыне! Молю тебя, только не сейчас!

Глава 13

Всего год назад разгромленная, Москва наползала, одолевала, ширилась, словно бы крыльями охватывая тверские пределы. К тому же и грамоты патриарха Филофея, отосланные в июне и достигшие Руси в середине лета, делали свое дело. Их читали, передавали друг другу. Епископы вручали их князьям, читали в церквах народу.

Пусть со скрипом, пусть не так слепительно ярко и грозно, как хотелось бы Алексию, но меч духовный, благодаря железной настойчивости старого митрополита, обращался в помощь воинскому мечу юного государя московского, князя Дмитрия.

«Так как благороднейшие князья русские все согласились и заключили договор с великим князем Всея Руси кир Дмитрием, обязавшись... всем вместе идти войною против чуждых нашей вере врагов Христа... а они, и в числе их тверской великий князь Михаил, ополчились и выступили с нечестивым Ольгердом противу московского князя, не страшась своих клятв, преступили их... то князья эти... отлучены от церкви преосвященным митрополитом, возлюбленным братом нашей мерности... Мерность наша, со своей стороны, имеет этих князей отлученными, доколе не приидут и припадут к своему митрополиту и когда митрополит напишет сюда, что они обратились к раскаянью».

Михаил в бешенстве отшвырнул пергамент. Жалкие глаза тверского епископа Василия молчаливо проговорили ему, что князь не прав и что христианин не должен швырять патриарших посланий.

— После того, как он преступил крест и нарушил данное слово, Алексий не смеет накладывать епитимью на меня! — кричал Михайло, бегая по палате. Тысяцкий Константин Шетнев с Захарьем и Никифором Лычей угрюмо молчали, пережидая гнев господина. Все же отлучение от церкви — не шутка. Ну, положим, заставят своих попов служить или отпеть покойника. Ну, не станет князь ходить к причастию... Но соблазн! Для холопей, смердов — соблазн велий!

— Я сам буду судиться с владыкой Алексием перед патриархом! — выкрикнул, остановясь, Михаил.

— И кто поддержит тебя, княже, из духовных-то? — поднял глаза Захарий Гнездо.

— Рати мы все одно соберем! — выговорил старший Шетнев.— А токмо...

Он не довершил речи, но Михайло понял без слов. «Да и не соберешь!» — подумалось. Все ратники в разгоне, убирают хлеб и будут убирать до самой осени. Он остановился, оглядел новым зраком просторную столовую палату княжеских хором, немногих соратников своих (прочие тоже в разгоне). А там, в глубине терема, волнуются, ждут, тоже ведая про патриаршье послание, Евдокия и тринадцатилетний Иван, стройный отрок, с таким же, как у него самого в юности, ясным и не-

пугливым взором. Заботно и пытливо взглянет, отыскивая на лице любимого родителя своего печати смятения и скорби... Сашу с Борисом он еще не понимал, не воспринимал как помощников и продолжателей отцова дела и мало задумывал пока об уделах, спорах и дальнейшей судьбе сыновей. Но Ивана уже сейчас готовил в смену себе.

— Преклони, княже, слух свой к глаголу господней любви! — не приказал, но попросил епископ Василий. И потому, что попросил, потому, что в голосе старика была безнадежность веры в княжеское разумие, Михаил устыдил себя самого. Замер, склонил голову. Выговорил:

— Ежели я, ежели мы... решим предложить вечный мир и любовь князю Дмитрию, ты, владыка, поедешь с тем на Москву?

— Поеду, сыне! — просто отмолвил епископ.

— Такие дела думой решать надобно! — прогудел Захарий Гнездо, обиженно склоняя толстую выю.

— Думой и будем решать! — вскинув подбородок, легко и твердо, чуть-чуть побледнев, возразил Михайло. (Знал бы ты, боярин, чего мне, князю, стоит днешнее смирение мое!) Но не выговорилось, умерло в душе. Он почти ведал, что дума решит так, как решит он, князь. Но чего хочет он сам? И подлинно ли жаждет мира? — Михайло не ведал.

Дума порешила, после долгих споров, просить все же великого князя московского о вечном мире и дружбе, согласясь стоять на том, что имеет каждый из них на сей день, и не преступая впредь своих рубежей. Владыка Василий отправился в Москву в самом начале августа.

Но Дмитрий Иваныч словно того только и ждал. В ответ на ходатайство епископа, сложил с себя крестное целование и послал взметную грамоту Михаилу. Совершилось это на шестой день по Госпожине дни, то есть двадцать первого августа. Москвичи были готовы к бою, их рати стояли на Волоке.

Тверской епископ, отпущенный на сей раз из Москвы невозбранно, тотчас послал гонца Михаилу, и князь узнал о решении Москвы назавтра, глубокой ночью, на четыре часа раньше того, как московские послы со взметной грамотой домчали до Твери.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава 14

Итак, все оказалось напрасным...

В окошках стало совсем сумрачно. Дальнее урчание рассерженного грома откуда-то из Заволжья надвигалось на Тверь.

— Гроза! — выговорила Евдокия. Михаил, что лежал без сна, думал, накинул на нижнюю рубаху ферязь, сунул ноги в домашние сапоги.— Льет и льет!

Пробурчав что-то невразумительное себе самому в ответ на вопрос жены, вышел из покоя. Постоял, прикрыв дверь. Решительно прошел переходом, миновав сторожевого с саблей, что дремал в углу, пихнул створы внешней двери, вышел на глядень.

Дождя еще не было, но все ветви, все листья напряженных от ветра дерев, глухо трепеща, устремились в одну сторону. Ветер, обнявший его на галерее, был упруг и могуч. Михайло почуял, как рвет у него с плеч ферязь, как волосы непокрытой головы, точно ветви погнувшихся дерев, устремили прочь, и даже стало трудно вздохнуть, так мощно вдавливались в грудь тугие воздушные струи. В очередном блеске молний проплыла, точно лунь, по воздуху над Волгою сорванная вместе со слегами кровля овина. Какая-то пичуга юркнула прямо под ноги князю, забиваясь в спасительные щели человечьего жилья.

Удар ветра качнул его, залепил плотным воздушным кляпом лицо и рот. Еще раз блеснуло, и, без перерыва, без всякого промежутка между сиянием и ударом, грянул гром — обвалом, крушащей всё и вся лавиною звуков, и хлынул ливень, что летел по воздуху вкось, разом вымочив его всего.

Князь уцепился за узорные перила, отверстым ртом хватая воздух, пополам перемешанный с водою. Захлебываясь, ослепнув от летящих в лицо струй дождя, он следил, как раз за разом отверзаются зеницы неба, расплющивая серо-белую, распластанную Тверь; как волжская вода взлетает длинными пенистыми потоками, обрушивая на вымола влажные стремительные удары; как вертит и рвет зачаленные лодьи; как пенистый белый след взбесившейся стихии покрыл весь берег под стенами города; как сами собой начали качаться и вызванивать стронутые ветром колокола... И снова меркнет, и гром, потрясающий, раскалывающий небо и землю, обвалом рушит на город.

У него не было никоторой мысли, ни даже чувства в сей миг. Все внутри умерло, замерло, и лишь дыхание билось с ветряным удушьем, лишь скрюченные намертво пальцы держали перила, как держат тяжелое правило в бурю руки кормщика...

Кто-то трогает его за плечо, тянет. Михайло поворачивает голову, и ратник, посланный Евдокией, отшатывается. В обращенных к нему глазах князя безумие, отблески молнийных сполохов в жути ослепших глаз, в искаженной ярости лица, облепленного мокрою бородою.

— Уйди! — неслышимо кричит Михаил, ибо новый обвал грохота заглушает все звуки, и вновь оборачивает яростное лицо навстречу грозе.

Он так и простоял, без мысли и почти без движения, все те два часа, пока несся над распластанною Тверью в яростной пляске ветер, пока грохотало и в провалах туч ветвилось небесное пламя, тяжкими ударами сотрясая землю и небесную твердь.

Только когда чуть-чуть успокоилось неистовство стихий, князь оторвал сведенные пальцы от перил и, вырвав из косяков забухшую дверь, покинул гульбище.

Евдокия молча и споро срывала с него мокрые одежды, боясь вымолвить хоть слово, потому что в глазах супруга все еще мелькало неукрощенное безумие огненных сполохов, с трудом разжимала ему кулаки. Он стоял перед нею голый и страшный, и она обтирала, закидывала его сухим чистым бельем, тащила, увлекала в постель, поила горячим сбитнем. Он глотал, с трудом

разжимая челюсти. Наконец свалился в соломенную упругость ложа, вымолвив только:

— Тверь они не возьмут!

Проснувшийся Иван, всклокоченный, в долгой мятой рубахе и босиком, стоял у приголоки, боясь того, что происходило в сей час с его родителем, и понимая уже, что не одна гроза — и даже не столько она — тому причиной. И потому молча обращал тревожные в пляшущем свечном пламени глаза к матери, без слов вопрошая ее, и она отмолвила знаком, махнувши рукою:

— Спи!

Назавтра, после короткого совещания с боярами, Михайло ускакал в Литву. Рати волочан уже начинали пустошить Тверскую волость.

Глава 15

Первого сентября, в день Симеона Столпника, вышел в поход с московскими полками сам князь Дмитрий. Конница медленно тянулась по раскисшим дорогам. Чавкали копыта, выбивая фонтаны грязи, затаптывая в лужи оранжевое великолепие осенних лесов.

Князь Дмитрий ехал в роскошном пластинчатом колонтаре и литом шеломе, в доспехах — особенно широкий, кажущийся много старше своих двадцати лет. К нему подскакивали воеводы, он важно кивал оперенным, отделанным золотою вязью шеломом, и, почти не слушая, что говорят ему, бледнея и каменея ликом, ждал одного: когда из-за пестрых, желто-красных и бурых кустов выскочат вдруг тверские конные ратники и надобно будет обнажить меч и рубить, рубить и рубить, а затем — гнать и преследовать бегущих.

Но шел дождь, а тверские верхоконные все не появлялись встречу полкам. Уже вели полоняников, гнали захваченный скот. Мокрые коровы, опустив морды, шарахались от оборуженных всадников, совались в кусты, норовя удрать, забиться в чащобу.

И Дмитрий хмурился и глядел недоуменно (это была не война!) и, наконец, приказал захваченный скот задешево раздавать московским смердам, пограбленным в прошлое Ольгердово нахождение. И когда к нему подъехали, переспросив, впервые взъярился, накричал, срывая голос и обещая жестоко наказать тех, кто будет присваивать крестьянское добро.

Двор великого князя московского расположился в Родне. Князю отвели хоромы кого-то из местных бояр, где он мог снять надоевшие доспехи, переменить мокрое платье, вымыться и поесть. К нему пришли за приказами. Война, совсем разочаровавшая князя, продолжалась.

По подсказке старших бояр, Ивана Федоровича Воронца-Вельяминова и Дмитрия Афинеева, он распорядил двинуть полки к Зубцову. Третьего сентября его воеводы обложили город.

Игнатий Гульбин, тверской воевода, содеял все, что мог. Вооружил смердов, приказал изготовить котлы с горячею смолой и наволочь груды камней, которые должно было бросать на головы осаждающим, загородил ворота бревнами.

Москвичи, осклизаясь на размокших валах, остервенело лезли на приступ, цепляя арканами за острые верхушки бревенчатой городьбы, лезли через стену, их сбивали, опрокидывали лестницы, лили смолу. Под тучами стрел с той и другой стороны падали раненые и убитые. В воздухе стояли ржание, звяк железа и гомон ратей. Отбили первый приступ, москвичи тотчас пошли на второй. В городишке от огненных стрел там и здесь загорались кровли, бабы с ведрами тушили пожары.

Игнатий лез на низкие бревенчатые костры, сам долгим крюком спихивал лестницы осаждающих, бился у ворот с лезущими сквозь пролом москвичами, был трижды ранен. Чумные после бессонных ночей, черные от копоти, перевязанные едва ли не все кровавым тряпьем, тверичи держались неделю. На шестые сутки Игнатий запросил мира. Московские воеводы, дабы не тратить людей, позволили тверичам покинуть город и идти «кому куда любо». Опустелый Зубцов сожгли.

Загонные дружины московлян всю неделю грабили деревни и села по Ламе и верховьям Шоши, угоняя полон и скот и почти уже доходя до Твери.

Только после взятия Зубцова, под упорными дождями, превратившими все дороги в полосы жидкой грязи, московские воеводы начали отводить свои вдосталь ополонившиеся рати.

Глава 16

Михайло Александрович, извещенный о новом московском разорении, умолив Ольгерда выступить противу князя Дмитрия, устремился в Орду.

Скакали, меняя коней, южным, степным путем, дабы не нарваться на заставы дружественных Дмитрию князей. (Скакать в Орду Михайлу понуждал сам Ольгерд, не желавший выступать, пока Мамай будет на стороне Дмитрия.)

Дождливая владимирская осень сказывалась и тут. Все реки, текущие к югу, были полны воды, броды исчезли, темная осенняя влага шла, пенясь, вровень с речными берегами. Люди и кони валились от усталости. Пересаживаясь с коня на конь, Михаил делал по полтораста верст в сутки, и уже не один кровный жеребец, захрапев, валился под ним, издыхая в кровавой пене, замученно глядя на своего сурового седока.

Михайло спал с тела. Костистее и старее сделался лик. Глаза смотрели с яростной горечью. В нем уже совсем не оставалось прежней юношеской улыбчивой светлоты, и, верно, увидь его Маша, сестра, в сей миг, дорогое некогда лицо брата ее ужаснуло бы.

Совершив невозможное, Михайло настиг Мамаеву орду на перекочевке, на реке Воронеже. Верно, тот стремительный порыв, с коим он скакал сюда, еще не перегорел и позволил князю пробиться прямо к Мамаю.

И вот они сидят: жиловатый татарин с хитрым и жестоким взором и русский князь, худой, замученный, со стремительным очерком неистового лица, с запавши-

ми, в глубоких тенях, глазами. Новый Михайло Тверской перед новым Узбеком, христианин перед мусульманином, русич перед половцем, ратай и воин пред кочевником-степняком...

Михаилу помогает знание татарской речи. Толмачи поэтому удалены. Разговор идет не в белой парадной ханской юрте, а в черном походном шатре Мамая, и оба сидят на войлочном ковре, и, забытые, стоят между ними кожаные тарели с мясом и серебряные блюда с фруктами.

Орда далеко не та, что была еще совсем недавно, в гордые времена Узбековы и Джанибековы. Потеряв богатые города Хорезма и Аррана, на Кавказе отступив за Терек, отдавши Литве Киев с Подолией, теснимая с юга и востока и удерживавшая за собою одно только правобережье Волги, Орда едва ли не вернулась ко временам половецких ханов, тех самых, что ходили под рукою великих киевских и черниговских князей. И ежели бы не поддержка русичей, ежели бы не нижегородские полки, позволившие ныне воротить под ханскую руку Булгар, и не русское серебро, невесть, удержалась бы она под натиском буйных ак-ордынцев...

И потому Мамай боится и не любит своих русских улусников. Он слишком зависим от них! А они стали чрезмерно сильны. Или же так ослабела Орда? Но ныне стал опасен Орде, опасен жадным Мамаевым эмирам сильный урусутский князь, князь Дмитрий, выпросивший себе грамоту на вечное владение владимирским великим столом. Да и мусульманские улемы льют в уши всесильному темнику свой яд: «Не верь урусутам, Мамай, предадут!» А кому верить? Кафинским фрягам? Они тоже против коназа Дмитрия! Поверить этому князю, что дает ныне серебро, много серебра! Всем дает! Подкупил, почитай, уже половину ордынских эмиров! Его руками окоротить коназа Дмитрия? А Дмитрий платит мало, очень мало! Ай, ай, как мало платит коназ Дмитрий! Однако Михайло — друг Ольгерда! А Ольгерд забрал Подолию!

Мамай качает головой, улыбается, слушает, маленькими злыми глазками внимательно изучает тверского князя. С Дмитрием у этого коназа вражда не на жизнь, а на смерть! Мамай прячет руки в долгие рукава, горбится. Его взгляд становится подобен взгляду подстерегающей огромной кошки.

— Чем тебе, хан, опасен князь Дмитрий? Разве ты не понимаешь этого сам? — спрашивает тверской князь.

«Понимаю ли я? — думает Мамай, глубже запуская в рукава зябнущие руки. За войлочными стенами метет мелкий колючий снег.— Понимаю ли я? Да, понимаю, конечно, что мне, моим эмирам, не надобна ныне единая сильная Русь, которая вовсе откажется когда-нибудь давать выход! Что ж! Быть может, и в самом деле этому бешеному урусуту, а не Дмитрию вручить ярлык на Владимир? По ихним урусутским законам прав на великий стол у этого коназа не меньше, чем у московского! И ты станешь мне много платить? — спрашивает мысленно Мамай.— И ты станешь давать мне выход, как при Джанибеке?»

Мамай уже забыл, кто брал для него Булгар. Мамай не может понять, что сейчас, соглашаясь дать ярлык Михаилу, он не ведает, что творит, лишаясь такого союзника, как московский князь Дмитрий, а завтра, изменив Михаилу, не поймет, что лишился на будущее еще и тверской помочи. Не поймет ничего до самого конца, до гибели под генуэзскими коварными ножами, ножами союзников, презиравших в нем невежественного дикаря и освободившихся от него в час беды, как освобождаются от старого платья.

— Я дам тебе ярлык! — говорит Мамай, по-прежнему думая, что он удачно использует спор двух урусутских князей в свою пользу.— Ты поедешь во Владимир и сядешь там на престол! Московский коназ должен будет тебе уступить! — Он протягивает властную длань, принимает из рук Михаила серебряную чару, полную жемчуга, кивает, приказывает составить фирман. Он, нарушивший сейчас свой же прежний ряд с Дмитрием, не понимает, что таким образом окончательно обесценивает силу теперешних ордынских грамот и Дмитрий волен отныне не считаться с ним.

И Михайло скачет вновь. С тою же мизерною, измученной тысячеверстыми дорогами дружиной, но с бесценной грамотой и с татарским послом. Скачет во Владимир, не догадывая еще, что так никогда и не доберется туда.

Москва, засыпанная молодым слякотным снегом, встречает победителей. Вызванивают колокола. Ржут кони. Мокрый снег облепляет вотолы, брони, седла, лица ратных и морды коней. Снег валит с тою же неудержимостью, как и давешний осенний дождь. Погода словно взбесилась, и все равно весело — победа!

Москвичи высыпали на дороги, чествуют рать, отомстившую тверичам. Дмитрий въезжает во двор, слезает с седла, торжественно подымается по ступеням. Он посвежел, острожел, гордится походной усталостью, хотя и жалеет, что не довелось побывать в боях. Дуня, сияющая, выходит на сени с обрядовой чарою. Бьют колокола.

Начинаются пиры, празднества, потехи. И тут — как не отмахнуться от скорого гонца, что на запаленном коне врывается во двор княжого терема? Но бояре поправляют, подсказывают. Федор Свибло бежит к Митяю, Митяй входит, минуя прислужников, рокочет о надобных господарских делах. Он высок, дороден. И, не обинуясь, велит князю собирать думу. Скоро с тем же самым прибегает посол от митрополита. Гонец — из Орды, от Кошки — поясняет: князь Михайло уже там и выпрашивает себе ни более ни менее, как ярлык на владимирский стол.

На сей раз среди бояр споров нет и царит полное единодушие. Андрей Одинец с Константином Добрынским скачут с дружиною к Юрьеву-Польскому. Зерновы шлют своих ратников на Кострому. Гонцы скачут в Нижний упредить княжеского тестя, Дмитрия Костянтиныча. Иван Вельяминов отправляется сам с ратными на Оку, а Иван Родионыч Квашня с Григорием Пушкой и Иваном Хромым — прямиком во Владимир. И все бояре скачут с одним: перенимать тверского князя. Михайлу стерегут на всех путях, и, чудом дважды уйдя от плена, тверской князь, так и не досягнувший владимирского стола, вновь уходит в Литву. Он, проделавший за немногие

дни сотни и сотни поприщ, загнавший неведомо скольких коней, отнюдь не сокрушен и не сломлен новой бедой. Для него это токмо начало. Ольгерд должен ему помочь!

Багряные высокие столбы ходят по небу, предвещая скорбь и беду, нахождение ратей и кровопролитие, «еже и сбыстся»,— как записывал летописец, испуганный сам, как и все, мрачным небесным видением, повторявшимся не раз и не два, а многажды в эту необычайную зиму.

Глава 17

Для Ольгерда патриаршье послание, в коем упоминался «нечестивый Ольгерд», послужило последнею каплей или тем, чем служит красная тряпка для быка. В ярости он бегал по кирпичной палате своего веленского замка, не обманываясь нимало в том, отколе исходят все эти укоризны и хулы, грозил раздавить Алексия, лишь тот попадется ему в руки.

Ольгерд требовал от патриарха поставить на Литву своего, особого, независимого от Москвы митрополита, требовал подчинить ему не только все захваченные Литвою епархии, но также и спорные между ним и Москвою земли, но также и Тверь, и даже Нижний Новгород,— оставляя Алексию лишь пятачок волостей, несколько епископий, непосредственно подчиненных Москве.

Мы приводим ниже Ольгердову грамоту, сохранившуюся в анналах константинопольской патриархии, полностью, без всяких комментариев, достаточно разработанных историками, так ярко, на наш взгляд, показывает она как норов самого Ольгерда, так и характер его политического мышления.

«Питтакий князя Литвы, Ольгерда, к всесвятейшему владыке нашему, вселенскому патриарху.

От царя литовского Ольгерда к патриарху поклон!

Прислал ты ко мне грамоту с человеком моим Феодором, что митрополит жалуется тебе на меня, говорит так: «Царь Ольгерд напал на нас». Не я начал нападать, они сперва начали нападать, и крестного целования, что имели ко мне, не сложили и клятвенных грамот не отослали! Нападали на меня девять раз, и шурина моего князя Михаила Тверского клятвенно зазвали к себе, и митрополит снял с него страх, чтобы ему прийти и уйти по своей воле, но его схватили. И зятя моего нижегородского князя Бориса схватили и княжество у него отняли! Напали на зятя моего новосильского князя Ивана и на его княжество, схватили его мать и отняли мою дочь, не сложив клятвы, которую имели к ним. Против своего крестного целования взяли у меня города: Ржеву, Жижец, Гудин, Осечен, Горышено, Рясну, Луки Великия, Кличень, Вселук, Волго, Козлово, Липицу, Тесов, Хлепен, Фомин Городок, Березуйск, Калугу, Мценск. А то все города, и все их взяли, и крестного целованья не сложили, ни клятвенных грамот не отослали. И мы, не стерпя всего того, напали на них самих, а если не исправятся ко мне, то и теперь не буду терпеть их!

По твоему благословению митрополит и доныне благословляет их на пролитие крови. И при отцах наших не бывало таких митрополитов, каков сей митрополит! Благословляет москвитян на пролитие крови и ни к нам не приходит, ни в Киев не наезжает. И кто поцелует крест ко мне и убежит к ним, митрополит снимает с него крестное целование. Бывает ли такое дело на свете, чтобы снимать крестное целование?! Иван Козельский, слуга мой, целовал крест ко мне со своей матерью, братьями, женою и детьми, что он будет у меня, и он, покинув мать, братьев, жену и детей, бежал, и митрополит Алексий снял с него крестное целование! Иван Вяземский целовал крест и бежал, порук выдал, и митрополит снял с него крестное целование! Нагубник мой, Василий, целовал крест при епископе, и епископ был за него поручителем, и он выдал епископа в поруке и бежал, и митрополит снял с него крестное целование!! И многие другие бежали, и он всех разрешает от клятвы, то есть от крестного целования!

Митрополиту следовало благословить москвитян, чтобы помогали нам, потому что мы за них воюем с немцами. Мы зовем митрополита к себе, но он не идет к нам.

Дай нам другого митрополита на Киев, Смоленск, Тверь, Малую Русь, Новосиль, Нижний Новгород!»

Глава 18

Прещения Филофея Коккина не помогли. Святослав Смоленский вновь выступал вкупе с Ольгердом. Вновь стянутые отай конные силы великой Литвы — братьев, сыновей и племянников Ольгерда с их дружинами, вкупе с тверским великим князем Михайлой — обрушились на московские волости.

Впрочем, прежней, до беды, растерянности на Москве уже не было. Ругаясь, матеря друг друга, успели, однако, и город приготовить к обороне, и вестоношей разослать во все концы скликать ратную силу. Но все опрокидывала необычайная Ольгердова быстрота.

Подойдя к Волоку-Ламскому двадцать шестого, он тут же начал штурм города, едва не захватив с наворопа отверстых ворот. Добро, что князь Василий Иваныч Березуйский заранее приготовился к обороне и успел, собрав ратных, отбить первый суступ.

Волок был сильно укреплен, и когда назавтра Ольгерд повторил приступ, волочане вновь отбились с изрядным уроном для литовских ратей.

К вечеру истоптанная, залитая кровью, усеянная трупами земля под валами города была освобождена.

Березуйский князь стоял на мосту в своем граненом шеломе, вглядываясь в рассыпанные по снегу, точно мураши, отступающие ряды литвинов и русичей, тяжело опустив четырежды за день окровавленную саблю прадеда своего. Он ждал, зная Ольгерда, последнего нежданного приступа, повестив дружине не уходить с валов и не снимать броней.

И верно, в сгущающихся сумерках (снова пошел тяжелый мокрый снег) литвины молча развернулись и пошли внапуск. Протрубили рога. Из отверстых ворот

высыпалась русская конница. Бой, переходящий в свалку, кипел у самого рва. Сверху, с заборол, в подступающих литвинов били стрелами.

Атака захлебнулась. «Нонече всё!» — подумал князь, и в этот-то миг спрятавшийся во рву литвин ударил его сквозь мостовины сулицею. Жало копья, пройдя снизу под панцирь, вошло в живот, горячею болью пронзивши тело. Князя Василия подхватили, кто-то прыгнул в ров, кто-то бил остервенело рогатиною сквозь щели настила.

— Сторожу... в ночь...— шептал князь, уносимый на руках в город. Лекарь, осмотревши рану, беспомощно развел руками. Князь, вздрагивая и теряя от боли сознание, отдавал последние приказания воеводам.

— Два дни... два дни... Не боле! — шептал.— Два дни продержись!

Монахи, оттеснив воевод, начали переодевать князя Василия в схиму, готовя к обряду пострижения, дабы князь вошел в тот мир не воином, а чернецом. Он уже не приходил в сознание. Воеводы и ратники стояли, снявши шеломы, кто и плакал, скупо, стыдясь, по-мужски. Князя любили. Мертвому давали молчаливую присягу не сдавать города.

Назавтра, после нового отбитого приступа, Ольгерд отступил. Это была первая и досадная неудача нынешнего похода! Русичи — в этом нельзя не отдать им должного — умеют оборонять города!

Ольгерд спешил. Спешил, ибо опытным чутьем бывалого воина понимал, что нынешние его успехи очень легко могут оборотиться поражением, стоит лишь задержаться, застрять, не успеть. Ныряя в косой занавесистый снег, проходили на рысях всадники. Он боялся нынче распускать полки в зажитье, боялся всякого останова и гнал рати, почти не давая ополониться и передохнуть, гадая, успел ли Дмитрий за те два дня, что он напрасно простоял под Волоком, стянуть полки.

В Николин день, шестого декабря, показалась Москва. Упрямо-неприступная, со своею где дубовою, как на урыве над Неглинной, а где и сплошь каменною стеною, с каменными башнями-кострами, увенчанными островатыми, в шапках снега, кровлями с прапорами и мохнатою резною опушкою крыш. Дразнящая, белокаменная, богатая...

Ольгерд с коня обозревал Москву. Небо было сиренево-серым. В Занеглименье уже занимались пожары.

Подъехали Кейстут с Витовтом. Брат тяжело молчал, глядя на Кремник. Вдали, по заснеженной кромке поля, обходили город смоленские полки князя Святослава, готовясь к приступу.

— Дмитрий в крепости! — высказал Кейстут и умолк. Ольгерд медленно, отрицая, покачал головою:

— На этот раз они подготовлены лучше!

После неудачи под Волоком Ольгерду совсем не хотелось слать своих воинов на каменные стены Москвы. Он тронул коня шагом, чувствуя, как мягко и сильно ходят под седлом мускулы жеребца, поехал встречь смоленскому вестоноше, думая о том, что вновь исполняет просьбу тверского шурина, а Москва все не сокрушена, и не добьется ли он в конце концов лишь того, что вместо сосунка Дмитрия его врагом станет деятельный тверской шурин, который вряд ли допустит столь просто литовские рати под стены своей Твери!

Из утра сделали приступ с напольной стороны, заваля ров кучами хвороста и снегом. Приступ был отбит.

Дмитрий сам стоял на стене, сам долгою пешней под хищный посвист литовских стрел сталкивал приступную лестницу с шевелящеюся на ней сороконожкою человечьих тел. Лестница глухо ухнула в снег.

Князя Дмитрия вдруг что-то сильно и резко ударило в плечо (к счастью, не пробив пластину панциря), так, что отдалось в руку, и он едва не выронил ослопа. Он недоуменно глянул и успел отстраниться. Вторая метко пущенная стрела задела шелом. Оружничий, без всякого уважения к княжескому достоинству, втащил Дмитрия под защиту заборол, и — вовремя! Третья стрела затрепетала, глубоко вонзившись в дубовый опорный столб, как раз в том месте, где только что стоял московский князь.

Приступ был недружен и недостаточно яростен, его скоро отбили.

Дмитрий, сопя, полез на высокую стрельницу, отмотнув головою на все уговоры оружничего со стремянным. Брат Владимир был услал с Акинфичами в Коломну, и от него не дошло еще ни вести, ни навести. В сереющих лиловых сумерках изгибающего зимнего дня вспыхивали огни. Горели хоромы горожан в Занеглименье, кельи Богоявленского монастыря на сей стороне...

«Вывести полки? Ринуть? Бояре не позволят!» — остудил сам себя. Владыка Алексий был нынче в Нижнем Новгороде, а Митяй, в ризах, стихаре, с дорогим крестом, предшествуемый иконою, обходил стены, басовито благословляя ратных на подвиг...

«Все одно и без Алексия не позволят! Надобно сидеть и ждать неведомо чего! Пока Володька одолеет ворога!» — Дмитрий закусил губу. Подумал, понял, что бояре правы, и не со старым мудрым волком Ольгердом спорить ему, мальчишке, в ратном-то деле! Приходило ждать, снова ждать! И вновь уступать Михайле Тверскому? Ольгерду — куда ни шло, но тверичам!

Князь стоял, тяжко дыша, сжимая кулаки от гнева и обиды. Редкие литовские стрелы с гудением залетали за заборола. Смеркалось. Ярче разгорались в ночной темноте огни пожаров.

Он слез, издрогнув, едва не упал, споткнувшись на предпоследней ступени крутой лестницы, и сразу попал в объятия Микулы Вельяминова. Свояк, не слушая отговорок князя, потащил его за собою пить с дружинниками горячий мед. Легко отмахнувшись от злых упреков князя, вымолвил:

— Конешно, обмишулились! Дак ведь Ольгерд Гедиминович! Сам! А и погоди, княже, не сумуй! Мыслю, и он нас тоже опасится малость! Гляди — рати держит во едином кулаке, не распускает в зажитье! Не опасил бы — давно разошлись по всей земле! Народу православному то было бы хуже во сто раз!

В княжеской молодечной, куда, спешившись, про-

никли оба свояка, боярин и князь, их встретили шум, здравицы, гомон. Десятки молодых, полных удали лиц обратились ко князю, подымая чары:

— Здрав буди, княже, здрав буди!

Дмитрий, оттаивая и улыбаясь, принял кубок, отпил под клики дружины. Оглянулся — этих хоть нынче веди в бой!

Лишь позднею ночью, хмельной, князь попал к себе в терем и разом в объятия Дуни, которая весь день была сама не своя, вызнав, что Дмитрий принял участие в бою, и тут, счастливая, торопилась постичь, что ее ненаглядный любимый Митюша и жив, и цел. И долго еще ласкала и целовала уснувшего.

Восемь дней литовские рати стояли под городом, осаждая Кремник. Восемь дней продолжался грабеж Московской волости. Меж тем слухачи доносили, что уже собравший полки князь Владимир Андреич стоит в Перемышле, в одном дневном переходе от Москвы, а через Оку уже переправились рати рязанского князя Олега во главе с Владимиром Пронским, идущие на помощь Дмитрию. То, чего опасался Ольгерд, совершалось. Приходило, дабы не потерпеть поражения, спешно заключать мир. Иначе он рисковал очутиться со всем войском в окружении московских сил на чужой и враждебной земле, среди сырых снегов, грозных для конницы при недостатке лошадиного корма.

С Михайлой, требовавшим продолжения войны, Ольгерд едва не рассорился на этот раз.

— Езжай к Мамаю! Пусть выступит он! — кричал, срываясь, Ольгерд на сумрачно-молчаливого на сей раз шурина.— Я не могу погубить всю свою дружину под Москвой! Мне досыти хватило немцев! Спроси Кейстута, легко ли было нам устоять! И кто из русских князей мне помогал? Ты не мог! А кто мог?! Я защищаю не только себя, я и вас защищаю от немцев! Без меня они давно бы уже взяли и Псков, и Новгород! Да, да! А что творите вы, что творит твой Алексий? Не твой?! Но и не мой! Почто не помогаете мне поставить своего митрополита на земли Литвы? Я уже написал о том патриарху!

Михаил молчал, хмуря брови и низя сверкающий взгляд.

— Бояре Дмитрия,— продолжал Ольгерд уже спокойнее, справясь с собою,— требуют, чтобы ты увел свои войска из захваченных московских волостей и воротил полон. Я согласил на то!

Михаил вскинул очи, пронзив Ольгерда взглядом, и вновь опустил. Так ничего и не ответив, резко поворотясь, вышел из покоя.

— Он, по крайней мере, не возразил! — сказал Кейстут, оставшись наедине с братом.

Ольгерд поднял глаза на брата. Выговорил медленно:

— Я не хотел говорить при Михаиле. Пришла грамота из Кракова. Казимир Великий умирает. Близит борьба за польский престол! Надо не упустить Волынь. И... быть может, Мазовию! Нынче нам нужен вечный мир с Москвой. Я предложил Дмитрию выдать свою дочь за его двоюродного брата, Владимира Андреича.

— Елену? — уточнил Кейстут. Ольгерд кивнул:

— Ее! Князь Дмитрий согласен.

Воротясь во Тверь и отдавши наказы воеводам, Михайло тотчас поскакал в Орду.

Глава 19

В Островое Наталья выбиралась несколько раз, последний — осенью, отвезя обозы. Минин посельский боле не пакостил. Впрочем, наезжали, приглядывались, да как раз о ту пору, как госпожа была во своем дворе. Уехали ни с чем. Мужики нудили Наталью: «Переезжай к нам!» Она улыбалась молча, отматывала головою. Сама не ведала порой, почто, прикипев ко вдовьим хоромам своим, где каждая спица, каждая слега, крюк напоминают ей Никиту, не может оторваться, уйти, стать сама себе госпожою, вместо того чтобы продолжать Никитину тяжкую работу, заместо мужа объезжая волостку и «вымучивая» из упрямых мужиков митрополичий корм.

Обоз был отправлен по первому снегу. Из Острового Наталья воротилась к концу ноября, не уведавши, что в тот день, когда она выезжала из Москвы, Ольгердовы рати явились в пределах княжества.

Ежели бы не прискакал вестоноша, ежели бы литвины не застряли под Волоком, невесть что и сотворилось бы. Наученная горьким опытом прежней войны, Наталья, получив вести, тут же, в ночь, велела всем, разослав верховых по деревням, зарывать хлеб и уходить со скотиною в леса. За считанные дни устроили шалаши, огородились засеками, перегнали крупный и мелкий скот, и, когда подошла литва, в пустых Натальиных деревнях, где оставались, может, две-три древние старухи, сами глядевшие в домовину, только ветер гулял да мелькали тенями кошки, упрямо не желавшие покидать родимых хором, да еще ласки, хорьки и прочая живность, ютящаяся, чуя поживу, близ человечьего житья.

Сама Наталья, уже отославши детей в Горелый бор, нежданно для самой себя, когда уже за ней заехал староста, вдруг заупрямилась.

— Куда я корову поведу?! — сказала, слепыми, замкнутыми глазами глядя мимо лица ошеломленного старосты.— Езжай! Вот еще эту укладку возьми! Ванюшу, гляди, не выпусти, не то сюда прискачет! Езжай! Може, со мною хошь... деревню не сожгут... — сказала она первое, что пришло в голову.

Никифор расставил руки, думая было имать Наталью и валить в сани.

— Не смей! — сказала она, угадав его движение и сурово повышая голос. И староста заюлил, замитусился, начал просить, снимал и мял в руках шапку... Наконец отъехал, так ничего и не поняв.

— Ну, все! — сказала Наталья, проводив его со двора. Зайдя в пустую горницу, оглядела свое жило, села на лавку, разглаживая крашенинный холст на коленях. Повторила тихонько: — Ну, все...— И молча, беззвучно вздрагивая плечами, заплакала.

Литвины явились на третий день. Наталья доила корову. Заслышав шаги, не удивилась и, уже когда ратник распахнул дверь, неспешно подняла голову. Рат-

ник даже отпрянул сперва — не сожидал увидеть живую душу, да еще и с коровою. Стоял, раздумывая, что сказать, содеять. Наталья поднялась, молча налила молока в берестяной ковш, поднесла ратнику. Тот глянул вытаращенными глазами, дернулся, воровато озрясь, отступил было.

— Пей! — сказала Наталья.

Ратник неуверенно принял ковш — был он высок и белобрыс, уже средних лет, лик имел совсем не воинственный,— начал пить, все поглядывая и поглядывая на Наталью, на ее сухое, с огромными, в черных тенях, очами, иконописное лицо, на тонкие персты потемнелых от работы, но явно боярских рук. Воротив ковш, сказал по-русски:

— Благодарствую!

У Натальи от звука русской речи чуть отлегло от сердца. Подняла бадейку, пошла в дом. На дворе грудились несколько ратников. Литвин в русской броне под суконною расстегнутой ферязью распоряжал людьми. У одного из ратных в руке трепыхался и ронял алые искры смолистый факел.

Наталья поставила кленовое ведерко на крыльцо. С захолонувшим сердцем, точно в холодную воду, подступила к ратным.

— Православные ле? — вопросила отчетисто и твердо. Ратники, видимо русичи из Полесья, закивали — да, мол! — поглядывая опасливо на своего боярина.

— Владычная волость! Нельзя жечь! — остерегающе подымая голос, сказала Наталья.

Литовский боярин глядел на жонку, не решивши пока ничего. Переспросил своих: о чем говорит баба? Ему сказали. Литвин, сам крещеный, задумался.

— Люди где? Где мужики, скот?! — вопросил он, трудно подбирая русские слова и начиная гневать.

— В Москве! В Москву ушли! — громко, как глухому, выговаривала Наталья.— Куда-то туда подались! — махнула она рукою.— И скот увели за собой.

— Нельзя жечь, грех! Митрополичье добро! Господь накажет! — требовательно повторила Наталья.

Литвин раздумчиво глядел на нее, положив руку на саблю. Подумал: увести? Стара, да еще и содеет чего! Зарубить?

Наталья обернулась за ведерком и ковшиком (и боярин приздынул, вынимая из ножен клинок, все еще решая: не рубануть ли?). Спокойно — чуяла раздумья ворога и заставляла себя сугубо не спешить — воротилась, стала подавать всем полные ковши молока. И по мере того, как пили, и когда выпил-таки и сам боярин, убить жонку стало как-то совсем неможно, да и отобрать у нее корову — тоже.

В доме, даже оставленном, всегда найдется что-нибудь: и порты, и снедь. С подволоки достали крепко провяленную чечулю мяса, растопив печь, сварили с Натальиной помочью котел пшенной каши, пили хозяйский квас. Прихватывая кто сверток холста, кто какую иную сряду, портно, один вынес из сарая старые обруди, литвины посажались на коней и поехали вдоль деревни. Догоравший факел был брошен во дворе. Ратники заходили в избы, шарили по клетям, но жечь деревню не стали. Вечером, возвращаясь с несколькими кулями разысканного где-то зерна, опять напились молока у Натальи и опять литовский боярин думал: не убить ли? Долго на расставании глядел в строгие очи пожилой женщины. Что-то понял. Оборотив коня, ускакал.

Наталья уже после, пережив смертный испуг, покаяла, что не ушла. Доведись до татар, так легко не отделалась бы, угнали бы в степь! Зачем осталась? Из-за коровы, что можно было и увести с собою? Из-за покойного Никиты, скорей!

К ней еще дважды наведывались отдельные воины, прослышавши про чудную жонку, оставшуюся в пустой деревне. Пили молоко, уезжали, так и не тронув ни ее, ни коровы.

Дешевле обошлась селянам вторая литовщина, чем первая. Слишком спешил Ольгерд, разорив вдосталь лишь те волостки, через которые валила его армия.

Иван, уже когда схлынула литва, первым прискакал в деревню, бросился в объятия матери.

— Почто ты, почто, ну почто?! — бормотал, рыдая, тиская Натальины плечи. Поднял залитые слезами глаза.— А погибла бы, увели, мы-то как?!

И Наталья тут только покаяла, что давеча захотела умереть. Было ей для кого жить на этой земле!

Глава 20

Алексий возвращался из Нижнего в Москву. Война схлынула, оставив, как и в прошлый раз, разоренные деревни и толпы беженцев, бредущих по всем дорогам. В их сердитых жалобах доставалось и князю, и боярам, и самому владыке Алексию. Удивительным образом все эти сорванные со своих мест смерды упрямо верили, что стоило бы воеводам проявить хоть кроху распорядительности и поране собрать войска, и Ольгерда не только остановили, разбили бы в пух! Даже у этих разоренных, вторично за два года изгнанных со своих мест, голодных людей не являлось и мысли иной, как о том, что им, ихнему князю, надлежит токмо побеждать.

Сто, нет, еще пятьдесят лет назад при едином имени вражеском все и вся во Владимирской Руси бежало и пряталось. Тогдашние беженцы не виноватили своих воевод, но зато убивали друг друга в голодных драках над падалью и ожидали предательства даже от соседей своих.

Теперь сего прежнего позора не поминали и самые древние старики. Как и когда переломилось? Пламенные ли речи Дионисия? Кропотливый ли труд и несгибаемое мужество Сергия и его учеников? Суровый пример Михаила Святого, гордость Симеона или упорная воля митрополита Алексия?

В Нижнем накануне его отъезда с горы обрушилась подтаявшая снежная лавина и погребла под собою целую улицу посадских хором на Подоле. Тут же, в голых полях, бабы и мужики жали хлеб. Резали серпами ломкие стебли, связывали, ставили в бабки, и странен был хлеб среди облетевших зимних кустов, в изножьях которых дотаивал грязно-белый снег.

Молодайка в подоткнутой паневе, в коротее, замотанная до бровей в шерстяной плат, распрямила стан. На ее голые, красные как гусиные лапы руки было

больно смотреть. Но баба улыбнулась, пошла, покачивая бедрами, не выпуская серпа из рук, к остановившемуся возку митрополита. Склонила голову, принимая благословение, сунулась поцеловать руку Алексию, коснувшись его длани пальцами,— руки у нее были холодны как лед.

— Мы привыкши! — отмолвила на участливый вопрос Алексия. Над онучами, под высоко подоткнутою рубахой, виднелись тоже покраснелые, голые ноги.

— Не осыпался хлеб? — спросил ее старый священник (баба не ведала, что это сам митрополит, думала — просто проезжий батюшка какой).

— Не! — отмолвила она с беглой улыбкой.— Стоит хлебушко! Нас дождал! На Пасху с калачами будем!

Благословилась и пошла, твердо и трудно переставляя ноги в грязных растоптанных лаптях.

Алексий откинулся на подушки, узрел Леонтия, переглянувшегося с ним значительно и серьезно, двух дремлющих служек. Ощутил нежданную истому и тихую беззащитную радость. Вот, он уже древен и чует в себе угасание телесных сил, а жизнь идет! Идет, несмотря ни на что! Вот — жнут хлеб, не поддаваясь ни ратной беде, ни отчаянию.

И там, в Троицкой пустыне, куда заезжал он дорогой, у игумена Сергия, тоже творилась жизнь. В обители живописали иконы, переписывали книги, шили, скали свечи, чеботарили, строили. Мужики из умножившихся окрест деревень то и дело приходили к радонежскому игумену, и он учил их и наставлял. Сам ведая любой крестьянский труд, давал советы, ободрял; укреплял беседами и прещением неблагополучные семьи.

Алексий думает обо всем этом, полузакрывши глаза, и вспоминает немногословную беседу свою с Сергием, беседу, в которой, как всегда, было мало сказанного и безмерно много того, что выше человеческих речений. Он не спросил Сергия, правда ли, что, когда тот благословил старца Исаакия на подвиг безмолвия, из руки преподобного вышел огонь и окутал Исаакия с ног до головы. Не спросил, не к чему было, и о прочих чудесах, о коих вдосталь рассказывали на Москве. Сергий сам был чудом, и Алексий с каждым годом и с каждою новою встречей все больше его понимал тем не словесным, а высшим разумом, помочью которого только и приходит истинное понимание.

Жизнь шла и, быть может, скоро уже пойдет помимо него, Алексия. Дмитрий, не спросясь у владыки, согласил на мир и предложенное Ольгердом сватовство. Что ж! Князю Владимиру Андреичу пора обзаводиться семьей, и вряд ли Ольгерду воспоследует какая корысть от этого брака! А мир с Литвою он укрепит. И даже то, что везет он Дмитрию как подарок переход в московскую службу волынского князя Дмитрия Михалыча Боброка (переговоры велись через него, Алексия, и владыка обещал Боброку своей властью снять с него присягу князю Ольгерду), даже и это вряд ли нарушит нынешний мир. Беспокоил лишь все еще не одоленный тверской князь, по сказкам, нынче опять укативший в Орду. Но и это не надолго затмило днешнюю радость Алексия. А Боброк, опытный воин, впавший в немилость у Ольгерда, очень и очень надобен Москве! Надобен добрый воевода, который сумеет, в противность неповоротливым московским стратилатам, разгадывать литовские воинские хитрости...

Полузакрывши глаза, он впитывал радость, и свет, и сырой запах земли, слишком рано освобожденной от снега, и таинство течения жизни, и таинство угасания, ухода «туда», в лучший, Господом устроенный горний мир...

Леонтий с беспокойством следил за необычайно мягким, беззащитным, почти детским выражением лица старого митрополита и отгонял от себя упрямо восстающий страх. Он так сжился, так слился с владыкою, что с трудом мог вообразить свою жизнь на земле, ежели не станет Алексия.

Глава 21

С приездом старого митрополита события понеслись стремительно. Готовилось посольство в Литву. Порешили пока вечного мира Ольгерду не давать, но заключить перемирие на полгода: от Госпожина заговенья до Дмитриева дни. Прискакал Владимир. Волнуясь, хмуря брови и вспыхивая, прошал: какова невеста?

Владимир Андреич вымахал в покойного отца: рослый, румянец во всю щеку, пшеничный ус, огонь в очах. Нынче возмужал за считанные дни — как же, сам руководил полками! Задержись Ольгерд, и в бой бы пошли!

Князя успокаивали:

— Хороша! От тверского корня да от Ольгерда уж худого не станется!

Невеста, баяли, по-русски говорит чисто, мать выучила, так что и той трудноты не будет! И православная, кажись. Не то что как встарь бывало: седни крестить, а завтра венчать!

Послами в Литву готовились выехать из княж-владимировых бояр Иван Михайлович, сын покойного Михайлы Лексаныча, тестя Василья Василича Вельяминова, из великокняжеских Дмитрий Александрович Зернов и Иван Федорович Воронцов-Вельяминов.

Среди хлопотни, беготни и сборов ждали со дня на день приезда знаменитого волынского воеводы, князя Дмитрия Боброка. Гадали, сколько приведет он с собою ратной силы. И когда донеслось: «Едут!» — глядельщики выстроились аж от Данилова монастыря и до Боровицкого спуска.

Самостийная встреча — словно бы государя иной земли — чем-то задела Дмитрия. Он остановил коня на взлобке Боровицкого холма и глядел, кусая губы, поверх городовой стены туда, в поля, где со стороны Коломны приближалась вереница верхоконных. Ехали телеги с бабами и детьми, шли за ними пешие мужики и ратники. Боброк переселялся со всем своим двором, послужильцами, челядью, холопами. Его воины ради въезда в Московский град изоделись в брони, иные в иноземные кованые панцири.

Федор Свибло, старший сын Андрея Иваныча Акинфова, шагом подъехал к великому князю.

— Словно владыку какого встречают! — сказал. Дмитрий коротко кивнул, продолжая глядеть из-под рукавицы и все не решив, встречать ли ему князя Боброка на Боровицком спуске или здесь, в самом Кремнике. И как встречать?

— Теперь бы, с ентою силой... — начал Свибло и замолк; дождав, когда князь поворотит к нему вопрошающий взор: — Олега Иваныча окоротить малость! — досказал боярин и, торопливо, дабы не подумал чего иного князь, пояснил: — Родитель мой, вишь, баял с князем Владимиром Пронским... В обиде тот на Олега! Дак... Ежели... И заменить мочно!

Дмитрий молчал, обмысливая.

— А Лопасня наша будет! — договорил Федор. Дмитрий медленно склонил голову, не то понимая, не то принимая. Ничего не ответил, но погодя бросил на Свибла красноречивый взор. Стрела угодила в цель.

Боброк в сопровождении двух взрослых сыновей-воинов и толпы послужильцев уже въезжал в Боровицкие ворота.

Волынский князь был росл, строен, сухолиц, мужески красив и подборист. Золотника лишнего жира не гляделось в этом теле, свитом из одних тугих сухожилий и мускулов. Он легко сидел на коне, легко, не доезжая шагов двадцати, спрыгнул с седла и обнажил голову.

Дмитрий, подумав, тоже соскочил с седла — получилось это у него тяжеловато — и ждал приближающегося князя, ждал поклона, после которого удовлетворенно поклонил сам.

Княжата, поступающие в службу великому князю московскому, становясь боярами, лишались обычно княжеского звания своего. Боброк его сохранил. Так и писался князем. И прояснело, что будет так, именно здесь, в этой первой встрече Дмитрия Михалыча с князем Дмитрием.

Волынский воевода стоял, на полголовы возвышаясь над Дмитрием, и улыбка, и взгляд его были почтительны, но горды. Дмитрий вдруг почти по-детски озорно, широко и весело улыбнулся в ответ. Подумал: да неужто сей витязь не сумеет одолеть Олега! Боброк принял улыбку на свой счет и решил, что понравился князю.

А Дмитрий так и не понял в этот первый день, по нраву ли ему пришел новый подручник. И в соборе, и на пиру присматривался, скользом изучая твердый очерк княжого лица, благородство осанки и поступи. Было во всем этом что-то чуждое ему, «вельяминовское». Под словом этим понимал он прежде всего и даже единственно — Ивана Василича, будущего и (ненавистного!) тысяцкого своего. Однако Боброк держался сугубо почтительно, как и его взрослые сыны Борис с Давидом. И Дмитрий постепенно оттаивал, принимая как должное и уже теперь принадлежавшее ему, а не Ольгерду, достоинство и породу нового московского послужильца. Вскоре прояснело, что и во главе посольства, направляемого к Ольгерду Гедиминовичу, нехудо было бы поставить именно Дмитрия Боброка, среди прочих своих достоинств хорошо знающего литовскую и польскую речь.

За всеми хлопотами, пересылами и пересудами, за торопливым залатыванием прорех, нанесенных войной (вновь раздавали лес, хлеб, лопоть и скотину, вновь привечали нищих и сирот), как-то забылось, отступило то, что творилось в это время в Орде, доколе не грянул гром. Михайло возвращался из Орды, заново получив ярлык на великое княжение владимирское.

Глава 22

Ставка Мамая, главный юрт, располагалась на среднем Дону, там, где река, сделав крутой поворот, вновь устремляется к юго-западу. Здесь находился царский улус, как его называли русские, Сарыхозин. Сюда сгоняли бесчисленные отары овец и табуны коней. Здесь века потекли вспять, к древним половецким кочевьям, и среди позавчерашних кипчаков-половцев, нынешних татар, стоял станом истинный повелитель Орды, темник Мамай, которого русичи уже теперь, нимало не смущаясь наличием хана, называли царем. Ханов в Орде ставил и смещал Мамай по своему изволению.

Михаил собрал рукавицею лед с усов и бровей; явившемуся пред ним татарину показал серебряную пайцзу («байсу», как переделали русичи). Дружина и холопы кучно грудились у него за спиной, боясь отлучиться и пропасть в этой чужой круговерти кочующих орд, где, казалось, стоит татарину накинуть тебе аркан на плечи, и пропадешь, исчезнешь, как исчезли тысячи тысяч захваченных, уведенных, проданных...

Татарский сотник, гортанно выкликая приказ, поскакал перед ним. Скоро спустились в лощину, где не так пронизывал ледяной ветер. Темными сенными кучами в снежной заверти показались ханские юрты, к которым они приближались, минуя скученные стада и дружины вооруженных нукеров.

В конце концов совсем окоченевшие русичи оказались в шатрах и смогли, сидя на кошме перед неровно вспыхивающим и чадящим огнем, согреть руки и поесть татарского мясного варева с лапшою и красным перцем, обжигающего рот. Давно уже русичи, даже князья, приезжая в Орду, перестали чураться кумыса и степной пищи, которую живущие рядом со степью русичи и сами научились готовить не хуже татар.

Князь вышел в ночь, отошел, как предписывал еще древний монгольский обычай, на двести шагов от юрты. Ночь дышала одиночеством и древностью. Казалось, люди еще не научились пахать, строить дома, и все их имущество то, что тут: кожи, кожаные бурдюки с кумысом, шкуры и скот, да сабля, да конь, да железный ли, бронзовый котел с непонятными по нему письменами на древнем, много столетий назад угасшем языке...

Чего он хочет, зачем приехал сюда?! Вышняя власть! Почему ты можешь быть только одна, всегда одна, и павший в этой борьбе должен всегда уступить, уйти или погибнуть? Ему, чтобы спасти родимую Тверь, чтобы спасти даже один свой удел Микулинский, надобно получить ярлык на великое владимирское княжение и сокрушить Дмитрия! И — не меньше! И сколько еще мучеников вослед деду Михаилу Святому, отцу, дядьям и старейшему брату взойдут на плаху или погибнут от меча, ножа и огня, прежде чем кто-то один одолеет наконец в этой борьбе и сплотит воедино великую Владимирскую Русь!

Мамай принимал его сперва сидя на троне, низком и широком, вызолоченном арабскими мастерами

стольце, потом — в простой походной юрте, где темник и князь снова сидели на одном войлочном ковре и Михайло, порешив обходиться без толмача, подбирал татарские слова, изъясняя свою беду и нужду, а Мамай по-рысьи настороженно следил за ним, прикидывая, стоит ли вновь помогать этому настырному урусуту.

Мамаю, потерявшему Хорезм и богатые города Аррана, в борьбе за Сарай и Хаджи-Тархан, в борьбе с ак-ордынцами, надобно было русское серебро, много серебра! И коназ Михайло давал, много давал! И обещал давать еще больше, обещал прежний, Джанибеков, выход!

Тверские князья все были врагами Орды! Так говорят! Но это неверно! Орда сама была врагом тверских князей! Узбек казнил коназа Михаила, деда нынешнего тверского князя, что сидит перед ним на кошме, поджав ноги, и ждет, когда он, Мамай, подарит ему владимирский стол!

У него есть своя гордость, о которой он молчит до поры. Он, Мамай, скоро сам станет ханом, повелителем Золотой Орды! И сокрушит их всех! И прежде всего — ненавистного ему Дмитрия! Быть может,— да! — руками коназа Михайлы!

Слуги вносят кольчатую бронь и круглый литой шелом русской работы. Это ему, Мамаю. Бронь хороша. Мамай понимает в оружии, удоволенно кивает головой.

— Я дам тебе ярлык,— говорит он,— но ведь тебя не пустили во Владимир! Слушай! — Мамай произносит это слово по-русски. Он сейчас честен, он (что очень редко бывает с ним) говорит то, что думает. — Слушай, коназ! Димитрий не покорится тебе! — Мамай вновь переходит на татарскую речь.— Он даже не пустил к себе моего посла! Никто не отдает власть просто так! За власть бьются, и бьются насмерть! Я дам тебе два, нет, четыре тумена воинов! Ты сокрушишь Димитрия! Превратишь его землю в пустыню! Мои воины приведут с собою много рабов, скота и урусутских женщин, они принесут серебро, мед, меха соболей и куниц! Димитрий станет пылью у твоих ног, и ты получишь владимирский стол. Решай! Я сказал!

Михаил смотрит, ждет. Видя, что татарин высказал все, глядит на него, думает. Понимает, что Мамай прав. Трижды прав! И ни Андрей, наводивший на Русь монгольские рати, ни рыжий убийца Юрий, ни Калита не отказались бы от татарской помочи! Так поступала Москва каждый раз в споре с Тверью! И горели хоромы, гибли смерды, уводились в степь после Шевкалова разорения тысячи тверичей... И каждый раз не саблями поганых, так серебром пересиливали в Орде, кладя на плаху головы тверских князей, его предков, одного за другим. И вот теперь, возможно, впервые и, может быть, единственный и последний раз ему предлагается отомстить за все разом! За смердов, за сожженные города и вытоптанные пажити, за великие тени погибших, за святого деда своего... За всех, всех! Отомстить и покончить единожды и навсегда с междоусобными бранями на Руси. Вырвать, вырезать с корнем разросшуюся московскую язву, что ширится и смердит, отравляя Русь! Покончить, истребить, перемочь, повернуть время, вновь зажечь светоч тверского величия и вручить его грядущим векам! И будет Владимирская Русь Тверскою Великою Русью, будут под рукою у него Новгород Великий и Псков, и суздальские князья — тот же Борис и Василий Кирдяпа тоже станут на его сторону,— и с Олегом он, Михаил, заключит мир и любовный союз, воротив ему родовую рязанскую Коломну. И Ольгерд не помыслит тогда небрегать им, Михаилом! И, быть может, он сам остановит тогда на рубежах русских земель литовские полки, и будет Русь, Великая Русь! И час придет, и, состарившись, передав власть в крепкие руки сына, предстанет он там, в горнем мире, пред убиенным родителем своим и пред великим дедом и скажет: «Вот я! То, чего не сумели вы, я возмог и сумел! Сокрушил Москву и вознес превыше всех градов земли родимый город! Укрепил Русь и прославил ее в веках! Вот что сделал я в вашу память и в память пролитой вами крови!»

Михайло смотрит в огонь, мимо лица Мамая, смотрит ослепшим, обрезанным взором, и в глазах его — или то мнится Мамаю? — трепещет сверкающая влага слез. Он медлит, он ждет, он в бешеной скачке торопит коня, он взывает, он гневает... И — не может. Ему не переступить этой пропасти! О, он сделает все, что в силах, и что не в силах — тоже! Он будет драться насмерть, насмерть и до конца! Но уступил, отступил он уже теперь, в этот вот каторжный час. Он подымает голову. Смотрит. Медлит. Отвечает Мамаю:

— Я не возьму твоего войска! Справлюсь сам! Дай мне ярлык и пошли со мною посла!

Татарин внимательно смотрит ему в глаза. Не понимает, гневает, кажется, понимает. Удивлен, обижен. Угаснув, острожев и охолодев взором, слегка переводит плечами:

— Как хочешь, урусут! Димитрий бы, думаю, взял у меня ратных на тебя! — И глядит исподлобья. Быть может, тверской князь еще передумает? Но нет, Михаил, медленно покачивая головой, отвечает:

— Может быть. Наверное! Я — не возьму.

Мамай замолкает, больше не уговаривает, незачем. Он понял. И все-таки не понял совсем ничего! Ибо сам он так бы не поступил никогда!

Вечером в шатре, когда Михайло, молча поужинав, укладывается спать, Микула Митрич по праву дорожной близости пробирается к нему, ложится рядом в кошмы.

— Мамай предлагал мне татарскую рать на Дмитрия,— без выражения говорит Михаил.— Я не взял!

Микула вздыхает, чешет пятернею кудрявую шапку волос, ожесточенно скребет затылок. Думает. Отвечает:

— Забедно нам станет без татарской-то рати! Одначе и то сказать: опосле Шевкалова разоренья, опосле такой пакости, наведешь татар — не то что земля, и Тверь может от нас отшатнуть!

Князь лежит, заложив руки за голову, с лицом, поднятым ввысь.

— Повестить дружине? — спрашивает погодя Микула.

— Повести! — чуть пошевелив плечами, отвечает Михаил.

Глава 23

В Туле, куда добрались, совершенно вымотав коней,— ранняя весна, с распутицей, заливая дороги, шла по пятам — Михайлу встретил рязанский князь Олег.

Городишко, недавно еще татарское становище, где в жаркую пору лета отдыхала царица Тайдула (ее именем, в сокращении, и был назван город), начал уже превращаться понемногу в русский ремесленный посад.

Князья встретились радостно. Оба загодя уважали друг друга. Не имея общего порубежья, не имели они и порубежных обид, а сверх того, одинаково опасались растущей силы Москвы.

Встретились на дворе, верхами. Михайло тотчас оценил ладную посадку и мужескую стать Олега; Олег — видимые глазу выносливость и упорство тверского володетеля. Оба князя были в самой поре мужества, в расцвете телесных и духовных сил, оба имели трудные судьбы, тот и другой начинали едва ли не от самого истока, своими трудами добиваясь почета и власти, в отличие от их соперника, великого князя Дмитрия, которого «делали» до сих пор митрополит Алексий, Вельяминовы, Акинфичи, Кобылины да и все прочие московские бояре. И теперь, сойдя с коней, сидя за столом в бедной горнице случайного степного, крытого соломою жила за неприхотливою трапезой, они уверялись в верности первого впечатления.

На столе была уха из мелкой костлявой речной рыбы, пшеничный, грубого помола, хлеб, каша из полусваренного проса и квас. Шел пост, и мясного, добравшись до своих, русичи избегали: не в татарах уже!

Князья ели молча и деловито — тот и другой после целодневной конской скачки были попросту голодны,— изредка поглядывая друг на друга с внимательным одобрением. Враз, одинаковым движением, отодвинули глиняные мисы, положив ложки поверх горбом — сыт!

Предстоял трудный переговор, ибо Олег уже сведал, что тверской князь скачет отвоевывать у москвичей великое княжение и ему надобна ежели не помочь, то хотя бы неучастие рязанского князя. Олег думал тяжело и сумрачно.

— Видишь, князь! — поднял он наконец на Михайлу тяжкий и властный взор (когда-то мальчишкой, захватив Лопасню, стыдился обожания окружающих; нынче и стать и взгляд выработались в нем повелительные, княжеские).— Я не могу идти на Дмитрия войною, ибо только что помогал ему против Ольгерда, и враг у нас общий — Литва! Но и на тебя, поскольку ярлык ты получил по закону, от хана, а не своею волею идешь на Москву...— Он приодержался, подумал, что следовало бы, быть может, пособить Михайле, как-никак отказавшемуся от Мамаевой помочи, то есть отказавшемуся наводить татар на Русь! Но честь, но данное слово, а слову своему Олег не изменял никогда, но стыд измены — ибо, помогая Михайле, он невольно переходит на Ольгердову сторону... Олег еще помрачнел, потряс головою, высказал наконец: — Но и на тебя, князь, меча не вздыну!

Михайло помолчал, трудноту Олега понимая сердцем (попросту поставил себя на место рязанского князя), не стал настаивать. Достаточно было и того обещания — не помогать Москве.

Договор скрепили грамотою. Олег снабдил Михаила свежими конями. На прощанье крепко обнялись. Что бы там ни было, а тот и другой чуяли неложное уважение друг к другу.

Путь Михаила теперь лежал по землям верховских княжеств, на Вязьму, на Зубцов, к верховьям Волги, в обход земель, подвластных Москве, где его караван могли задержать, не посчитавшись и с ярлыком, и с Мамаевым татарином, Сарыходжой, что ехал всаживать князя на стол владимирский.

Домой, в Тверь, Михаил возвратился десятого апреля. Для знатного татарина был устроен пир. Не обманывая себя нимало, Михайло тотчас распорядился собирать войска. Идти на Владимир, сажаться на великий стол без ратной силы нечего было и думать.

На Москве известие о возвращении тверского князя с ярлыком на великое княжение владимирское произвело переполох, схожий с потрясением земли.

Но вот тут и сказалось то, что отличает молодые, восстающие народы и цивилизации от старых, близящих к своему закату. Вместо печальной растерянности, нерешительных пересудов, опущенных рук, вместо подлого склонения перед силою обстоятельств, перед тем, что «от нас не зависит», вместо жидких речей — что, мол, мы можем содеять теперь?— вместо всего того, что мы, современные русичи, видим досыта друг в друге, не в силах и пальцем шевельнуть, когда на наших глазах губят реки, уродуют землю, вырубают леса, отравляют, жгут, пронизывают радиацией нашу землю, наши леса, наши пашни и пажити, самую основу нашей жизни, вместо всего этого тут (тогда!) и растерянность была деловая, скорая, гневная.

Дума собралась в тот же день. Взаимные нелюбия и попреки забыты тотчас. Споров, по существу, не было. Было одно: не пустить, не дать! Не допустить до Владимира, а для того — немедленно, нынче, теперь — собирать и двигать полки!

Василь Василич встал и повестил, что он уже выслал, не сожидая думы, конную дружину к Переяславлю и наказал собирать московское ополчение. Старик Дмитрий Александрович Зерно встал, повестив отдышливо и кратко, что по первой вести послал старших сыновей, Ивана Красного и Константина Шею, крепить Кострому. Дмитрий Михалыч Боброк, дождав своей очереди, тоже немногословно и дельно предложил разоставить сильные сторожи на главных путях. Бояре (все!) давали серебро и выставляли ратных. Большой полк было решено, совокупив его в четыре дня, во главе с самим великим князем Дмитрием, Владимиром Андреичем и воеводами двинуть к Переяславлю, где сходились главные пути и шла ближайшая, по Волжской Нерли, дорога от Твери к Владимиру.

Скорые гонцы наряжались в Ярославль, Галич, Городец, Нижний Ростов, Стародуб — ко всем князьям, так или иначе зависимым от великокняжеской власти. Предложения, одно другого дельнее, подавались всеми, дума на сей раз говорила «едиными усты», и уже Иван Вельяминов готовился скакать во Владимир, а Федор Свибло — в Ростов. Федор Кошка, бессменный посол

ордынский, встал и сказал, что надобно снова скакать в Орду и выведать, нельзя ли перекупить ярлык у Мамая, что он это дело берет на себя, а главное, надобно подкупить, улестить, обадить, всеми силами уговорить; задаривши, ордынского посланца Сарыходжу, ибо, по его твердому разумению, в нынешней Орде власть зело некрепка, и серебром еще и не то содеять мочно! И тот совет был мудр и хорош. Но — все ждали, что скажет духовный глава и отец Руси Московской, старый митрополит.

Алексий сидел, опустив взор, сгорбясь. Он думал и понимал, что надобное сейчас к совершению от него, владыки Руси, опаснее во сто крат всех замыслов боярских, ибо, ежели сие не поможет, пошатнется сама церковь православная на Руси... И все же он должен, он не может теперь поступить иначе! И владыка подымает загоревшийся прежним темным пламенем взор, на сухо-пергаменном лице его глаза горят неистово-молодо:

— Поелику тверской князь не склонил слух к прещениям вселенского патриарха, я сам отлучаю князя Михаила Тверского от церкви! — говорит он.— И нынче же велю повестить об этом по всем храмам Владимирской земли!

И это всё. Последнее. Больше ничего и неможно содеять.

— Федор-от Кошка пущай погодит в Орду скакать!— раздумчиво подает голос Иван Мороз.— Ему с Сарыхозей ловчее всех сговорить, его и пошлем к татарину!

И это приняли безо споров. И Федор, сверкнув глазами, улыбнулся грузному сановитому Ивану Морозу, что сидел тяжело и плотно, расставив колени и уперев руки на толстую резную трость. И Иван Мороз ответил понимающей, с легкой лукавинкою улыбкой подбористому молодому Федору. И никто, ни один из бояринов, в тот час не подумал даже, что едва ли не впервые за полтораста лет дума великого князя открыто, «едиными усты», не посчиталась с волею татарского царя.

Глава 24

Лед уже сошел, и стало мочно возиться на ту сторону, но усланная наперед сторожа донесла, что московская великокняжеская рать стоит у Переяславля и что силы там нагнано что черна ворона, «в бронях вси», и Михаил не рискнул переправлять свои полки через Волгу. Усланные наперед киличеи с одним из Сарыхозиных татаринов привезли твердый ответ князя Дмитрия: «К ярлыку не еду, во Владимир, отчину свою, не пущу, а ханскому послу путь чист!»

Сарыходжа медленно подъехал ко князю. Сыто жмурясь, поглядел на весеннюю шалую воду, покачал головою, почмокал. Степной конь настороженно нюхал воду, поводил ушами. Татарин, сощурясь, вопросил князя русскою молвью:

— Чево твоя делай топэр?

Кровь бросилась в лицо Михаилу, безумный гнев заставил бешено забиться сердце. Он поднял коня вскок, прокричал, с оборота, татарину:

— Идем вперед!

Полки двинулись по прежней дороге, вдоль Волги, мимо Кашина, все круче забирая на север. Василий Кашинский выслал Михаилу кормы, явно с тем только, чтобы тверичи не пустошили Кашинской волости. Михайло яростно гнал все дальше ратников и ропщущих мужиков (надо было пахать, а война без сражений и грабежей не сулила никому ничего, кроме проторей), и так, миновав Углече Поле, дошел до Мологи, первого города Ярославской земли, столицы удельного Моложского княжества.

В Мологе бил всполошный колокол. Позавчера протопоп Никодим, срывая голос, выкрикивал с амвона слова владычного проклятия князю Михайле, а сегодня сам Михайло Александрович с полками пожаловал под город.

Из слобод валом валили беженцы. Вестоноши на запаленных конях принесли весть Федору Михалычу Моложскому, что рать валит великая, а с нею ордынский посол с «байсою» ведет тверского князя всаживать на владимирский стол.

На площади, сметая заборы, бушевало самозваное вече. Ремесленники, бабы, какие-то юродивые, монахи, купцы... Вопли; на возвышении, поделанном из бочек с положенной на них сорванною створой ворот, мятутся витии. Смерд с расхристанным воротом кричит, требуя, дабы князь выдал оружие и брони посадским и защищал город. Очередного краснобая стаскивают за ноги, на помост лезет купчина. Густо кроет Михайлу Тверского:

— Какой ён нам князь, когды владыка отверг! А токмо — одни мы не выстоим, други!

Оружия требуют, почитай, все, но в истерике воплей сквозит растерянность: ветхий тын по насыпу и низкие костры — город отчаянно не готов к обороне...

Князь Федор Михалыч, утративший всякую власть в городе, сидит у себя в тереме, толкует с боярином. Он мрачен. Ратных горсть, мужики покричат и разбегутся, а с Михайлой рать неисчислимая, и без помочи ярославских дружин ратиться с ним нечего и думать. Он прислушивается к крикам, долетающим сюда с площади, хмурит татарские густые брови, шепчет презрительно:

— Чернь!

Гонцы в Ярославль уже усланы, но разве они поспеют! Со смотрильной вышки, куда князь подымается спустя час, уже видно, как из-за дальних лесов выкатывает полк за полком, «валом валит» тверская рать. Он жует ус, думает, мрачно глядя туда, и все не может решить: выстоят или нет московиты? Хотя приучен годами (еще Калита учил!), что Москва растет неодолимо. Давно ли Митрия Костянтиныча, суздальского князя, сокрушили! И — кабы не отлучение, наложенное владыкою, он бы еще и подумал, не предаться ли тверичам. Но... Покамест князь Михайло не во Владимире...

А всадники все ближе. Перед ними бегут, вливаются в городские ворота толпы слобожан; бабы волокут овец, детишек, скарб. Стоны, гомон... Повернув голову, он видит, как от вымолов торопливо отчаливают груженые лодьи. Купцы смекают по-своему: пока суть да дело, товар спасти от грабежа! Гневая, князь рычит на боярина:

— Кто разрешил?

Тот разводит руками.

— Тамо такое ся творит! Не пробиться и на кони! Осатанели людишки!

Князь думает, сопит, потом тяжело спускается вниз, под ним стонут ступени. Требует ратную справу, бронь, коня. Он еще ничего не решил и решить не может. События катятся мимо него. Он ловит ухом набатные звоны, крики ярости и страха, растерянность города. Шепчет: «Нет, не выстоят!» Шагом, в сопровождении бирючей и дружины, едет, расталкивая народ, к воротам. Створы уже закрыты. Снаружи бьется и молит толпа не попавших в город. Близко-поблизку подскакивают тверичи, пускают стрелы в город через заборола. Князь оглядывает растерянную толпу, видит безлепицу и срам, тяжко дышит и поджимает губы. Вдруг велит:

— Отворяй!

Скрипят петли. Запоздавшие поселяне толпою врываются внутрь. Мычит и блеет скотина, визжат задавленные жонки. Князь брезгливо сторонится, пропуская бегущих. И — вот тот страшный миг, когда меж ним и «ими» никого. И там, оттуда, скачут вражеские всадники в шеломах и бронях (пусть и свои, русичи, но...). Он, решась, выезжает на мост, дружина, оробев, жмется у него за спиною. Он, поведя глазом, успокаивает ратников:

— Боя не примем! А у теремов,— велит побледневшему боярину,— житного двора и казны разоставь сторожу!

И боярин скачет, радостный, выполнять наказ.

Князь сопит, ждет. Вот тверичи ближе, ближе. По платью, по дорогой броне понимают, что перед ними хозяин города. Шагом, умеряя рысь, подъезжают вплоть. Он тоже не ведает, что творить, подумав, вкладывает саблю в ножны.

— Я — князь!— отвечает.— Повести Михайле Лексанычу!— И шагом едет (напряженные бирючи за ним) прямо на подскакивающих всадников. Ругаться? Грозить? Уряживать? Сам еще не ведает толком.

В Мологу, уговоренные князем Федором, тверичи вступать не стали. Войска остановили под городом. Михайло отдал наказ, запрещающий грабить и жечь дворы слобожан.

Моложский князь после часовой ругани урядил на том, что пока из Ярославля не воротились гонцы, а Михайло не вступил во Владимир, он как бы ни за кого. Меча не вздынет и кормы выдаст, просит только об одном: не предавать разору и грабежу его вотчину.

Глава 25

Землю заволокло туманом. Издали доносило скрипы коростелей. Небо, легчая, начало отдалять от земли, и первые шафранные полосы уже пролегли по нему, предвещая рассвет, когда к вымолу подошла с той стороны долгоносая лодья, глухо стукнув о бревна причала. Сторожевой окликнул, с лодьи ответили:

— Свои!

Вылез какой-то посадский не то купец, судя по платью. С ним выпрыгнули двое слуг. Приезжий, чуялось по походке, был молод и легок на ногу. С лодьи, кинув мостки, вывели коня.

Приезжий, показавши подошедшему сторожевому пайцзу, удостоверяющую его высокое звание, чуть тронув стремя носком, оказался в седле. О чем-то переговоривши со сторожею (ратники были все, на счастье, моложского князя), он, озрясь, потрусил по берегу, явно избегая тверских дозорных. Двое слуг и провожатый из местных торопливо поспешали за ним.

Тверской дозор задержал незнакомца только уже в городе, близ княжого двора. Приезжий, наклонясь с седла, показал пайцзу.

— От хана! К татарскому послу Сарыхозе!— вымолвил он повелительно. Узревши «байсу», тверичи отступили, подозрительно глядя вослед удивительному гонцу-русичу, который, однако, ехал вестоношею от татарского хана.

Так, пользуясь своею посольскою пайцзою, Федор Кошка (это был он) сумел достичь ордынского двора, где почивал Сарыходжа, не потревожив внимания тверичей. Теперь, как полагал он, больше чем половина дела была уже содеяна.

На дворе пришлось-таки подождать. Но он заговорил с нукерами Сарыходжи по-татарски, порасспросил одних о доме, оставленных семьях, других — о добыче, намекнувши на возможные нескудные подарки московского князя, так что скоро на него перестали коситься подозрительно, и, как только Сарыходжа проснулся (уже били в колокол, созывая народ к ранней обедне), сотник тотчас провел Федора Кошку в хоромы посла.

Татарин ел баранину и, сощурясь, поглядел на московского боярина, еще не ведая, кто перед ним такой. Федор решил не заставлять посла разгадывать, кто он, зачем и откуда, сразу и простодушно повестив по-татарски:

— К тебе прибыл, ака! От великого князя Дмитрия!

Оказалось, что Сарыходжа даже и помнил Федора Кошку по ордынским встречам. Это совсем упрощало дело. Скоро Федор сидел по-татарски на кошме, брал руками баранину, грыз, облизывал пальцы, смеялся, блестя белыми зубами, и, мешая серьезный разговор с шуткою (вздыхал, жалобно озирая хоромы: такой ли прием окажет тебе московский князь!), звал Сарыходжу посетить князя Дмитрия, который не ест, не пьет и не спит, а только и ждет приезда к себе дорогого гостя, дабы засыпать его с ног до головы подарками.

Не первый посол московский звал Сарыходжу к московскому князю. Но этот (к тому же и старый знакомец по Орде!) оказался всех красноречивее:

— У князей свои дела, у тебя твои! Баешь, сам Михайло не взял татарской рати! Ну! Понимай, свои тут дела, може, и тебя водят округ пальца! Потолкуй с Дмитрием! Ты сам потолкуй! Мамай умен, Мамай тебе то же самое скажет! Надобно серебро? Будет серебро! Сам приди! Тебе скажу, как другу скажу! Пущай князья сами ся решают! Ты свое исполнил? Дары получил? Ярлык? Отдай ярлык князю Михаилу, сам езжай на Москву! Лучше раз взглянуть, чем сто раз выслушать! Погляди сам! Того, другого, князя погляди! Мамаю скажешь, Мамай похвалит тебя! Не поедешь, все эмиры подымут тебя на смех: Сарыхозя, скажут, побоялся

взять серебро у московского князя! Я не говорю: измени! Не говорю: продай ярлык нам! Того я не говорю! Отдай ярлык Михаилу и поезжай! Ну! Погляди! Что скажешь Мамаю, то и будет! Люди ждут, лодья ждет, кони за Волгою ждут!

Федор ласково и весело заглядывал в очи татарину. Снял и подарил дорогой перстень: мол, ничего не жаль! И Сарыходжа размяк. В конце концов, зачем князь Михайло тащит его через леса и не идет во Владимир, чего ждет? А ежели он не может осилить коназа Дмитрия, при чем тут он, Сарыходжа?!

С такими мыслями татарский посол встретил в этот день тверского великого князя.

Михайло был в ярости. Только что протопоп Никодим не пустил его в храм по воле Алексиевой. Стал в дверях и раскинул руки. Михайло вскипел, поднял плеть, но встретил замученные, полные страха и обреченной решимости глаза старика, явно приготовившего себя к мученической гибели, резко поворотил, взмыл на коня. Не хватало ему еще и эдакой славы! Ропот тек у него за спиною, ропот тек по городу, по всей русской земле. Князь, отлученный от церкви, не мог быть великим князем владимирским!

Сарыходжа встретил Михайлу обычными укоризнами. Михайле бы сдержаться, но после срамной сшибки у собора он не выдержал. Впервые князь и посол рассорились вдрызг. Князь кричал, кричал Сарыходжа, брызгая слюною. Кончилось тем, чего и добивался Федор Кошка: Сарыходжа едва не швырнул ярлык Михайле. Бери, мол, а я тебе боле не провожатый, володей, как заможешь, сам! Михайло сбавил спеси, но уже порвалось, лопнуло. Сарыходжа устал, изверился, да и корыстолюбие одолело (ежели не на Руси, то где и нажиться еще!). На Москве, предвидел он, его, и верно, засыплют соболями и золотом!

— Бери ярлык!— кричал он.— Бери! А я еду о-себе сам! Нынче еду! В Орду еду! Князю Митрию скажу, о тебе скажу! Мамаю скажу! Пускай Аллах рассудит, кто из нас прав!

Михайло вдруг устал. Слепо глядел, как собираются, увязывая добро в торока, татары. Это был конец. Этого следовало ждать еще там, в Орде. Теперь оставалась Литва (вторая неверная опора тверского князя). А с Алексием он будет судиться, он этого не оставит так! Он пошлет в Константинополь, потребует патриаршего суда! И пусть Ольгерд, пусть даже польский король — кто угодно — помогают ему! В конце концов, можно потребовать, как уже давно предлагает Ольгерд, потребовать на Тверь и Литву иного митрополита! Когда Михайло, проводив Сарыходжу, мрачно и строго повестил моложскому князю, что, не ожидая ярославских послов, сам уводит полки, князь Федор, едва избежавший разорения и грабежей, с трудом сумел скрыть несколько глумливую радость, ибо понимал, что отступлением тверичей обязан целиком отъезду татарского посла.

Ратники вновь запрягали коней, увязывали добро, покидали окологородье. Михайло не стал вести людей по старой дороге, с Мологи двинулся на Бежецкий Верх, воюя московские волости, чтобы дать ополониться своему войску.

Сопротивления почти не встречали. Забирали скотину, добро.

Бежецкий Верх брали с бою. Лезли на стены под дождем стрел с заборол. Онька не заметил сперва, как Прохор вдруг, тихо охнув, сел на землю. Опомнясь, подхватил парня, поволок. Оперенная стрела торчала из тела, и Прохор сведенными пальцами хватался и хватался за нее. Пальцы скользили, покрываясь кровью.

Онька донес сына, уложил на телегу, достал нож, вынул, разрезав плоть, из раны наконечник стрелы, намазал барсучьим салом с травами — чем лечил всегда любые раны и что захватил с собою нарочито в поход. Окончив все, перевязал рану тряпицею. Прохора била крупная дрожь. Отец укрыл сына курчавым зипуном.

— Иди, батя!— вымолвил Прохор, перемогаясь. Онька глянул по сторонам, подумал, что ежели стрела отравлена, дак ничто не поможет. Узрел соседа-коновода, попросил:

— Пригляди за парнем!

Тот кивнул. Онька, подобравши рогатину, слепо пошел туда, где то опадал, то нарастал вновь гомон и ор ратей. Город еще держался, еще со стен спихивали осадные лестницы, и Онька, воротясь к своим, молча полез первым по вновь поставленной, дважды спихнутой лестнице. Поймав руками долгий шест, рванул, едва не сорвавшись, его на себя, вырвал из чьих-то рук, размахнувши топором, прыгнул куда-то в гущу ратных, гвоздил, не видя куда и кого, совсем не думая о смерти. Брызгала кровь, кто-то свалился со стоном ему под ноги. Потом мимо понеслись тверские ратные, а те начали спрыгивать со стен. И, углядев, что бой затихает и начинается грабеж города, побрел назад, к возам, страшась и уже ведая свою беду.

Прохор лежал под зипуном вытянувшись, какой-то необычайно плоский и бледный, с трудом открыл помутневшие глаза. «Батя!»— прошептал.

— Отравлена, поди, стрела-то была!— вымолвил давешний коновод у него над ухом. Онисим покивал, не глядя. Подумалось: «Как Таньше, как Просе покажусь, ежели сына не уберег?» На долгий миг захотелось умереть самому.

— Ты... бился... батя?— трудно и хрипло выговорил Прохор, озирая туманным взором залитого кровью отца. Онисим дико глянул на сына. О том, что он только что рубился в сече, он уже позабыл.

— Умираю, батя... огнем палит!— пожалился Прохор и начал скрести пальцами.

— Про-о-ша-а-а! — страшно и дико выкрикнул Онька и умолк, согнувшись, охватив руками потную холодеющую голову сына. Он трясся в отчаянии и ужасе и так и держал сына, пока из того уходила жизнь. Пальцы, которые он сжимал, одрябли, захолодели, взор омертвел. Онька не догадал вовремя закрыть сыну глаза. Он наконец, оторвавшись от дорогого тела, трудно поворотил голову. Фрол Недашев стоял рядом с телегою, перекинув через руку чью-то дорогую, залитую кровью бронь, верно, снятую с мертвеца, и растерянно глядел на Онисима.

— Убит?— вопросил он жалобно.

Онька долго молчал, шевелил губами, наконец, поднявши кудлатую голову с серебряными прядями

выступившей седины, ответил без гнева, со смертною усталостью в голосе:

— Хоронить домой повезем!

Князь Михайло воротился в Тверь двадцать третьего мая и тотчас отослал грамоты в Константинополь, в патриархию, с жалобою на Алексия и требованьем суда с ним, и в Литву, Ольгерду с Кейстутом, с просьбой о помощи. В Орду, к Мамаю, предвидя пакости, которые возмогут ему теперь устроить москвичи, Михайло отсылал, с боярами и казной, старшего сына Ивана. Это был отчаянный шаг, и Михаил понимал это и, провожая Ивана, крепко обнял и долго не выпускал из объятий. Потом, отстранясь, сказал сурово и твердо:

— Помни, кто ты, куда едешь и зачем! Нам с тобою, сын, нету иной судьбы!

Тени убитого Федора, погибшего в Орде отца, дяди Дмитрия, тень Михаила Святого, казалось, реяли в воздухе, и Иван, вскинув длинные красивые ресницы, побледнел и поглядел гордо:

— Ведаю, отец!— Тринадцатилетний мальчик, он вступал теперь в возраст мужества и, быть может, шел на смерть вослед великим теням тверских князей, погибших в этой жестокой и неравной борьбе.

Глава 26

Сарыходжу на Москве именно засыпали дарами. Отупев от обильных трапез, от многочасовых застолий, стоялых московских медов (ордынские степные вельможи пили тайком едва ли не все, успокаивая себя тем, что пророк запретил вино, но не медовую брагу и не русское пиво), ордынский посол, принимая уже безо счету связки мехов, огненно-рыжих пушистых лисиц, соболей и бобров, увесистые кожаные мешки с гривнами, ковши, кольца, достаканы, блюда (с каждого пира дарили ему по серебряному сосуду), принявши дареных коней, отделанную серебром бронь, жженное золотом седло и наборную сбрую, русскую шубу на куньем меху, крытую цареградской парчой, красного кречета, шкуру белого медведя, какие водятся в землях полуночных,— посол не ведал уже, чего еще пожелать. Утешенный ловкими и разбитными холопками, выпаренный в русской бане, провоженный до самой Коломны избранными боярами, Сарыходжа теперь думал лишь об одном: как пристойнее оправдать московского князя и как ловчее охулить тверского. Тем паче, что, выгораживая московитов, он выгораживал заодно и самого себя.

Живи Сарыходжа лет на сорок ранее, быть может, и не сносить бы ему, ослушнику хана, головы. Но нынче в Орде кто из эмиров поступил бы иначе? Кто отказался бы от московского серебра? И кто осудил бы Сарыходжу? Тем паче, что и сам Мамай думал одинаково со своими вельможами. Выслушивая то урусутских, то фряжских наушников, готовый кинуться то на Русь, то на Ак-Орду, запутавшийся в интригах и корыстолюбии, понимал ли сам-то Мамай, в чем была бы его корневая, главная, а не сиюминутная выгода? Правители эпох упадка всегда бывают поражены слепотой и видят близкое, не замечая того, что таится в отдалении. Так, Мамай проглядел Тохтамыша, не узрел опасности со стороны подымающегося в Азии нового завоевателя, железного хромца Тимур-Ленга, или Тамерлана, как его называли в Европе, дался в обман генуэзцам, для которых этот татарин-выскочка был только средством достижения своих целей, но никак не уважаемым ими союзником, коего надобно поддержать и в несчастии.

Сносясь с Египтом, заключая договоры с монархами христианских и мусульманских земель, Мамай думал, что он равен Узбеку, и ослеплял себя, не видя и не ведая даже того, что единой опорой ему может послужить Московская Русь, еще не осильневшая настолько, чтобы стать хозяином Восточной Европы, и потому нуждавшаяся в прочном ордынском щите.

Сарыходжа не был наказан Мамаем и даже сумел настроить повелителя противу тверского князя. И когда в ордынскую ставку явились тверские послы, приведя с собою сына Михаилова, Мамай, вовсе исполнясь спеси, начал тянуть-пересуживать, вытягивая из тверичей новые и новые подношения и... И в это время к нему явились московские послы с князем Дмитрием.

На Москве, проводивши Сарыходжу, вздохнули было свободнее. (Со дня на день ждали литовских послов!) Но тут дошла весть, что Михайло послал к Мамаю посольство со своим сыном. Дело грозило принять дурной оборот, и на думе было решено перенести спор с тверским князем в Орду, для чего ехать в ставку Мамая надобно было самому великому князю.

Вечером того дня Федор Кошка, необычайно серьезный, сидел у митрополита Алексия, выслушивая последние наставления владыки. В покое было всего несколько избранных бояринов: Бяконтовы, Матвей с Данилой Феофанычем, Зернов, Александр Всеволож и Иван Федорович Воронцов-Вельяминов.

— Чаю, согласим!— говорил Кошка хмуро.— Был бы Мамай умен, в два счета согласил бы я ево: без нашего серебра он ить и с Ак-Ордою не сладит! Хан Урус стратилат — не Мамаю чета! Да и фряги его живо продадут, как они греков продали! И Литва не долго без нас станет ему выход с киевских волостей давать — всё так! Надобны мы Мамаю, да и он нам надобен! Был бы умный... Дак вот какая беда, ён не умен, а хитер! Гляди, сам себя обмануть заможет, того боюсь!

— Серебро...— начал Алексий, но Кошка потряс головой.

— Ведаю! Серебро — само собою! Орду нынче на серебре всю и купить и продать мочно. Дак ить и перекупить тоже! Чести нету, дак и пенязи не помога!

— Как бы еще Мамай с Ольгердом дружбы не завел!— подал голос Александр Всеволож.— Тогда нам и вовсе туго придет!

Тотчас возникло в уме у всех безрадостное позорище: с юга — Мамай, с ним жадные фряги, с запада — Ольгерд, с севера — Тверь и Борис Городецкий с востока. И вот Московская Русь в обстоянии, из коего, ежели еще и Олег Рязанский подопрет,— не выползти будет! Невольно бояре подобрались, сдвинув плечи. Повеяло совокупной бедой.

Алексий молчал, понурясь. Вдруг поднял прояснев-ший лик:

— Господь не должен оставить нас! — Он не подумал в сей миг о Сергии, но что-то вошло, незримое, в палату, словно бы повеяло с высоты.— Я буду молить Всевышнего о даровании нам одоления на враги!

Бояре, кто с уважением к владыке, кто с верою в Спасителя, кто с суеверной надеждой на чудо, склонили головы.

Глава 27

Князь Дмитрий сидел у себя в спальне рядом с Дуней, и та, повалясь к нему в колени, прижимаясь мягкою полною грудью, плакала.

— Убьют тебя тамо!

— Не реви, великого князя московского не убьют!

— Да, а духовную грамоту составляшь! — горестно воскликнула Дуня, подымая заплаканное лицо.

— Без того и в Орду не ездят! — рассудительно возразил Дмитрий, оглаживая плечи жены.

Сам робел немножко. Детское тогдашнее худо помнилось, а нынче... Ну как, по примеру Узбека, схватит его Мамай? Схватит и будет держать в нятьи, где-то у себя в степи, на Дону. Юрта, косоглазые нукеры у входа, ветер и пыль, полусырая конина и кумыс. Да еще колодку наденут на шею, как Михайле Святому! Он подвигал шеей, представил деревянный, подпирающий горло ошейник, себя, неуклюжего, жалкого в этом ошейнике... Гнев пятнами выступил на широком лице князя. Броситься бы в битву, рубить! Все они тут храбрее меня, а я? Стоял с полками у Переяславля, тверичей и не видели! А Михайло Бежецкий Верх взял!

Дуня гладит теплыми шелковыми ладонями его широкое лицо. Любует скорбно. Хоть и воротит ладо милый — долог путь до Орды! Признаётся шепотом, ткнувшись ему лицом в плечо:

— Я снова затяжелела! Думаю, отрок!

Он стискивает властно и бережно плечи жены.

— Ежели сын,— продолжает она торопливо и вкрадчиво,— можно, Василием назовем?

По своему деду, понимает Дмитрий и кивает, усмехаясь невесело. Первый, названный Данилкою в честь прадеда, не заладился! Пусть хоть этот растет здоровым! Ежели есть проклятье на нашем роде, быть может, хотя так беду отвести... Дмитрий суеверен, и о проклятье, якобы павшем на князя Симеона и весь род московских володетелей после убиения в Орде Александра Тверского с сыном Федором, слыхал.

— Ладо мой! — шепчет Евдокия.— Я не хочу, чтобы ты уезжал в Орду!

Пятнадцатого июня, через три недели после отъезда тверского князя, Дмитрий Иваныч, великий князь московский, выехал туда же, в степь.

Митрополит Алексий в возке сопровождал своего князя до Коломны.

С Алексием князь распростился у перевоза, на коломенском берегу. У вымола ждали дощаники. Уже дружина и обоз ушли на тот, рязанский, берег. Алексий вылез из возка, остановился на взгорбке, на островке зеленой травы. Бояре и коломенская господа, что провожали князя верхами, стояли в отдалении. Дмитрий опустился на колени, поцеловал сухую, трепещущую, ставшую пугающе легкой руку. Лик Алексия, обращенный к нему и к небу, был просветленно-ясен. Он молился. Кончив, опустил добрые усталые глаза на князя, оглядел надежду свою, выпестованного им повелителя еще не созданной великой православной державы.

— Езжай, сыне! Я буду неустанно молить за тебя Спасителя! И преподобный Сергий тоже будет молить! Чаю, верую, услышит он нас с выси горней и сохранит надежду земли! Будь тверд, сыне, и не забывай Господа своего!

Уже с дощаника, оглянув, узрел князь, что старый митрополит стоял все так же на бугре, благословляя его, и крест в его вздрагивающей руке сверкал и золотился на солнце.

Глава 28

В ту самую пору, когда Алексий провожал своего князя в Орду, в далеком Цареграде, утонувшем в благоуханиях пышных летних садов, велась иная молвь, узнав о которой старый митрополит вряд ли остался бы благостен и спокоен.

Вновь сидели в каменном патриаршем покое двое людей, одного из коих Алексий считал своим всегдашним заступником и другом, а другого не иначе воспринимал при патриархе, чем верного Леонтия при своем лице. Это были: полугрек-полуеврей Филофей Коккин и болгарин Киприан Цамблак. Филофей, не глядя на Киприана, волнуясь, перебирал и откладывал трепещущими руками грамоты, стараясь не смотреть в глаза собеседнику. Говорил Киприан:

— Ты сам убедился теперь, что прещения, и даже отлучение церковное, наложенное тобою по слову Алексия, не возымели успеха! Смоленский князь продолжает ходить в воле Ольгерда, тверичи не отшатнулись от своего повелителя, война не прекращена.

Теперь тверской князь сам требует суда! Дабы спасти достоинство партиархии и не отшатнуть от себя православного государя, мы обязаны осудить Алексия и снять проклятие с тверичей! Мало того, обязаны заставить того же кир Алексия отложить, отменить, яко ложное, отлучение от церкви, наложенное им на князя Михаила, и это совершится, ежели произойдет суд!

Подумай, какой укор твоей мерности, какой урон патриархии цареградской, какой соблазн для всех, небрегующих тобою! Подумай о том, что и сам Палеолог возможет ныне вовсе отвернуться от тебя, предав в руки латинян твердыню православия!

Не может сей гордый старец возвысить свой ум над суетною приверженностию к единому московскому престолу! Не возможет он понять, что церковь больше и должна быть больше всякого отдельного государства и княжества, даже великого, не говоря уже о столь малом и раздираемом междоусобною бранью куске земли, как Владимирская Русь!

Со скорбью глядел я, как ты растрачиваешь свой ум и труд на предприятие, коему нет благого исхода;

ради давней дружбы губишь дело, коему сам посвятил всего себя,— дело совокупления православных государей, дабы противустать неверным!

Сдвинь камень сей с пути, заклинаю тебя, сдвинь, пока не поздно! Ибо уже согласил и ты, и весь синклит, дабы во владениях Казимира польского явился свой сугубый митрополит для православных земель, захваченных католиками! И в том виновен Алексий! Завтра того же потребует Ольгерд, ежели не обратится прямо к папе... Завтра! Быть может, уже теперь! Он уже потребовал второго митрополита на все русские земли, не захваченные московским князем!

Филофей в конце концов выронил грамоты, закрывши лицо руками.

— Да, ты прав, ты прав! — с болью вымолвил он.

— И тогда, настояв на особном, своем, митрополите, Ольгерд вовсе отпадет от совокупного дела православия! — безжалостно продолжал Киприан.

— Да, ты прав! Неможно, не должно делить пополам русскую митрополию! — эхом отозвался Филофей Коккин.— Но что предлагаешь ты? Я не могу теперь сместить Алексия! — почти выкрикнул он.

— Отправь, наконец, меня в Литву! — спокойно возразил Киприан.— Надели полномочиями и отправь. Обещай мне, ежели надобно, дать сан митрополита русского.

— Под Алексием?

— Иначе мы потеряем Литву! — требовательно подчеркнул Киприан.

Филофей поднял черные скорбные глаза на Киприана.

— Ты получишь грамоты и... власть,— выговорил он наконец.— Только помоги мне докончить дело объединения церквей сербской и болгарской с греческой! — попросил он глухо. Киприан кивнул. Последнее разумелось само собою. С присоединением Литвы к греческой церкви будет образован мощный союз православных государств (из Сербии, Болгарии, Валахии, Византийской империи, Литвы и Руссии), способный разгромить Орду, отбросить за проливы турок и остановить натиск латинян, чем возжечь новый свет истинного православия! И ежели на пути к сей слепительно-величавой цели стоит один лишь упрямый русский старец, рассорившийся с Литвой (лично неведомый Киприану!)... Мучений Филофея Коккина он решительно не мог понять!

Положим на миг перо и помыслим. И о том, несвершенном (и могло ли оно совершиться в те далекие от нас и тяжкие для судеб славянства века?), что замыслили патриарх Филофей Коккин вкупе с Киприаном и что не сумели свершить потомки даже и много веков спустя, и о том, казалось бы, узколобо-национальном, что двигало волей Алексия и что, однако, удалось и состоялось и породило впоследствии великую православную державу, раскинувшуюся от Карпат до стен Китая и до просторов иных морей на противоположном конце Азии. Почему не состоялось одно и получилось другое? Нет ли тут той строгой закономерности, что даже за многонациональным объединением племен, каким оказалась Великая Россия, должна стоять в истоке и замысле одна национальная культура и одно (национальное!) духовное устремление? Римскую империю создали римляне, и, когда они исчезли, империи не стало. Великое государство монголов держалось горстью немногочисленных потомков степных батыров; с концом династии государство Чингизидов развалилось на национальные части. Россию создали русские, хотя Великая Россия никогда не была страной-колонией, и народы, ее населяющие, были равны между собой... И все же великие государства, как и малые, растут из одного корня.

Но все это, сказанное тут, видимым становится только в череде проходящих веков. Люди, творящие политику государств, мыслят обычно лишь пределами своей собственной жизни, и Киприан Цамблак в этом отношении не составлял исключения.

Глава 29

Уехал Дмитрий, и руковожение Московским великим княжеством снова легло на плечи одного митрополита.

Когда вскоре после отъезда молодого князя в Орду явились литовские послы, принимал их глава русской церкви.

Ольгерду очень нужен был мир, и даже предложенное москвичами перемирье «от Оспожина Заговенья до Дмитриева дни» (до 26 октября) его устраивало, на чем и построил все переговоры Алексий.

Борис Городецкий, извещенный послом, прискакал первый. Восходя по ступеням княжеского терема, на сенях встретил Алексия, с коим еще недавно, в пору второй литовщины, спорил в Нижнем, поглядел, расширяя вырезные ноздри, трудно склонил шею под благословение этого древнего и такого упрямого старика, глянул в глубокие, мерцающие на пергаменном лице все еще чистые и полные мысли глаза, поперхнулся, сбрусвянел. Единый из волжских володетелей, готовый стать на сторону Михайлы Тверского, он ничего не мог содеять один, без помочи, и, обреченный на насильное бездействие, тихо изнывал.

Послам литовского великого князя был устроен роскошный пир, а затем начались переговоры, в ходе которых Алексий и бояре московской думы всячески отодвигали тверского князя от участия в перемирных договорных статьях.

«Се яз, князь великий Олгерд, со своим братом, со князем с Кестутьем, и князь великий Святослав Иванович послали есмы своих послов к брату к своему, к великому князю Дмитрею Ивановичю, и к его брату, ко князю к Володимеру Андреевичю...»

...Вечером, после заключительного заседания думы, Алексий сидел у себя в покое, в кресле, полузакрывши глаза, разбитый и вымотанный до предела сил. Леонтий, коротко взглядывая на владыку, прибирал грамоты.

— Со всем согласились! — устало ронял Алексий.— Князь Михайло в грамоте не назван великим ни разу. Послам разъяснено так, что до ханского реше-

ния отлагаем! Ольгердовы бояре приняли! Тверской князь, чаю, встанет на дыбы. Но... тем лучше для нас!

— Будет война? — вопросил Леонтий.

— Не ведаю,— отмолвил, помолчав, митрополит.— Велено к тому же очистить захваченные Михайлой волости!

— Так будет война?! — вновь переспросил Леонтий, внимательно взглядывая на владыку, выжатого, полумертвого, но сумевшего заключить договор на всей воле московской.

— Обязались не помогать Михайле, ежели учнет ратиться! — сумрачно, но твердо пояснил Алексий.

— А что, наши пошли в Орду?

— То воля царева! — возразил Алексий.— Так и в договор вписано! Ржеву пока не трогаем,— прибавил он, помолчав.

Леонтий внимательнее вгляделся в сухой, полумертвый лик владыки. Ежели Ольгердовы послы подписали все это, стало, Ольгерд предал Михайлу Тверского... Почему? Или Ольгерд почел князя Михайлу настолько опасным себе? Или послов литовских переубедил владыка Алексий? Но тогда...

Тихо, едва шевеля устами, точно читая мысли Леонтия, Алексий проговорил:

— Перемирие заключаем невзирая на то, будет ли, нет Ольгерду люба сия грамота. Даже ежели он с нею не согласит! Ольгерду надобен мир с нами. Нам с Ольгердом — еще более! Михайло теперь один. Пока один! Мыслю, не будет большой войны...

Глава 30

Алексий все-таки, как ни был мудр, недооценил Михаила Тверского. Получив от своих доброхотов список перемирной грамоты, тот пришел в ярость. Литвин предавал его! Предал, оставив в руках москвичей! Он оказался ненадобен как великий князь ни Мамаю, ни Ольгерду. Ну, а земле? Земле он тоже ненадобен?!

— Ну, это еще поглядим! — пробормотал он сквозь стиснутые зубы, едва не скомкав список перемирной московской грамоты. Пока он — великий князь володимерский, он и будет вести себя и добиваться своего как великий князь!

Евдокия, вошедшая в это время в горницу, отступила со страхом, узревши мужев лик. Столько дикой яростной силы было в его глазах, едва заметивших супругу, едва замечавших уже дорогое некогда семейное тепло. Не было тепла, семьи, дома: на него несло пожаром, и он шел отныне в пламя, в огонь войны! Один. Без Ольгердовой и без Мамаевой помочи.

К июлю, едва отвели покос, по всем градам и весям Тверского княжества начали собирать ратников.

Полки двигались тою же дорогой, как и в прежний раз, но путь их лежал на княжескую Кострому. Михайло рассчитывал, взяв этот город, поднять Бориса Городецкого и с его помочью идти к Владимиру. Замыслу этому не суждено было осуществиться по многим причинам, в частности и потому, что Борис Городецкий, изрядно потишевший за протекшие годы и связанный к тому же Ольгердовым перемирным соглашением, не восхотел или не возмог поддержать князя Михаила Тверского. Там, где Михаил только надеялся на удачи, умудренный опытом Алексий заключал договоры, связывая возможных противников грамотами междукняжеских соглашений.

Помешала походу на Кострому и необыкновенная засуха того лета, сопровождаемая многочисленными пожарами.

Глава 31

Онисим похоронил сына рядом с матерью. Прохора оплакали, отголосили жонки. Прося целый день лежала на могиле, билась в рыданьях.

Таньша не стала ни злобиться, ни ругать Оньку, чего он втайне страшился боле всего. Поняла скрытую муку супруга. Все-таки слишком много было и горя и трудов прожито и содеяно вместе, а когда так-то — в истинной, большой беде люди поддерживают один другого, не давая упасть.

Ослепший, молчаливый, тыкался Онисим по дому, вершил то и другое, бросал, недоделывал... Молчал. Прохора не было. Не было его удали, смеха, сноровистых рук, бедовых глаз. Не было его толковой помочи при каждом деле, не брался он за вершину дерева, ежели отец подымал комель, не вострил топора, не сидел на противоположном углу недостроенной клети, ловко, по-взрослому уже, тюкая топором... Прохора не стало! И избыть того было немочно. Не стало, не было больше! Осталось — голос его, трудные последние слова: «Умираю, батя!» — и всё!

Ночами Онька не спал, лежал недвижимо, изредка вздрагивал. Таньша спала, уходившись за день. Спала, всхлипывая, Просинья. Спал Степушка, внук, оставшийся сиротою после смерти отца. А он — не мог. И труд не брал его. От устали гудели руки, ноги, спина, а сон не шел! Князя он не винил, винил себя: надо было поболе беречь парня! Изредка по твердой, морщинистой Онькиной щеке стекала, пропадая в бороде, одинокая, трудная слеза. Иногда вспоминался дед. Раз, в полубредовом видении, подошел, присел рядом с лавкою на сосновый чурбан, на котором Онька мастерил упряжь и все такое подобное, огладил его лицо призрачною рукою.

— Постарел ты, Онисим! — сказал, покачав головой.— Хорош ли был сын-то?.— вопросил. И Онька вспомнил, что дедо не видел его детей, не знал их совсем.

— Хорош! — отмолвил вполголоса: не разбудить бы, не испугать кого из домашних.— Доброй был сын, деловой!

Дедо оглянул терем, кивнул в сторону печи:

— Жонка?

— Ага! Танюха! — удивляясь, ответил Онька, и прибавил: — А матка от черной умерла!

— То — ведаю! — возразил дедо, и Онька догадал, что мертвые — они знают друг друга, не ведают токмо

о живых, потому-то и приходят по ночам глядеть да и спрашивать.

— С кем ты? — спросонь хрипло вопросила Таньша.

— А... — Онька, поискав глазами и не узрев более никого, отозвался нехотя: — Дедо тут приходил, прошал...

Таньша молча, вздыхая, слезла с печи. В потемнях, с распущенными косами, в одной рубахе, подошла, присела на тот же дедов чурак, привалясь, охватила руками голову мужа. Он ощутил на лице мокроту ее слез. Пошевелил головой, трудно стало дышать, она поняла, передвинулась, прилегла лицом на грудь мужу. Шептала что-то, оглаживая его рукой, бормотала:

— Спи, спи! Ладушко мой, Онюшко, да не выдам я тебя, не брошу в никоторой беды! — И что-то еще бормотала, и гладила, гладила, пока впервой за две недели, никак, Онисим задремал, и Таньша тоже прикорнула рядом, полусидя у лавки, проваливая в дрему, и все не отпускала, все берегла мужев сон...

Княжеские вестоноши прибыли в разгар покоса. Онисим выслушал мрачно, кивнул, уразумев, что нынче требуют четверых ратников и хотя бы одного верхового, что князь собирает большой поход и надобно очень поспешать. Выслушал, покивал, поправил для чего-то медный крест на груди под распахнутым воротом холщовой рубахи и отправился вновь косить, никому ничего не сказав. Впрочем, узналось и без него. Вечером, за ужином, непривычно тихие домашние молча, просительно взглядывали на Онисима. Первым не выдержал Федор.

— Батя, рать? — вопросил. Онисим поднял на сына тяжелые глаза, промолчал. Таньша вдруг побелела лицом, выпрямилась, жалко, по-козиному, выкрикнула:

— Феденька-а-а!

— Охолонь! — рявкнул Онька, ударяя кулаком по столу так, что подпрыгнула и расплескалась братина с квасом.

— Не плачь, мамо! — выговорил Федор твердо.— Все одно идти мой черед!

Онька, сгорбившись, молча, выбрался из-за стола, ушел на сенник, кинулся в колючее прошлогоднее сено. Идти был черед Федору! Но какого святого молить, чтобы ежели зацепило, то не парня, а его, старого Оньку! Глаз бы не казать дома с той беды!

Сряжались в этот раз без него. Ведала мать, ведали всхлипывавшие бабы, что идти нать, раз князь зовет! Ввечеру и Фрол Недашев взошел в избу, и Коляня, отмахав покос, приволокся вослед ему. Четверых! Стало, должен идти и Онисим. Само собой понималось, что Коляня будет при лошади, править телегою. Фрол выезжал в захваченной броне, и отец, Недаш, давал ему нынче коня. Федору доставался конь, захваченный в прежнем походе. Онисим, плоховато державшийся в седле, уступил верхового коня сыну.

Отъезжали на мглистой заре. Кони шли, фыркая. Пахло недальнею гарью, и утро наступало удушливое, почти не смягченное ночною прохладой. Пока проезжали ближним ельником, все четверо молчали. Только Коляня сиротливо оглянул на родимые кровли да Фрол выговорил громко:

— Посохнут ноне хлеба!

Никто не отмолвил в ответ.

Глава 32

Тверская рать валила проселками, в сплошных клубах пыли, под золотисто-серым небом, в удушливой гари пересохших, тлеющих от любого неосторожного огня болот. Вдаль, в поля, было ничего не видать. Ближние дерева словно висели в горячем тумане.

Под Кашином стояли, принимая высланные Михаилом Василичем кормы. Кашинцы были неулыбчивы и строги. Чуялось, что не одно лишь вечное их нелюбие с тверичами тому виною. Михайло потребовал, чтобы двоюродник пустил его в город с дружиною, не желая оказаться в нятьи посреди своего войска. Кашинцы, действительно, были в оружии. Из-за тынов, из дверей молодечной, со всех сторожевых вышек выглядывали острия шеломов и копий, там и тут посверкивала бронь, и Михаил, пока стоял в соборе, сидел за столом у родича, все сожидал узреть московитов и услышать крики начавшейся свалки. Ратникам велено было не расставаться с оружием. Кормы войску (овес, хлеб, мясо, сыры, сушеную рыбу) кашинский князь все-таки выслал. В желтоватой мгле костры тверских ратников казались сплошным пожаром, распространившимся в полях вокруг Кашина и вдоль прихотливых речных извивов Кашинки. Словно город был заклят огненным драконом.

Взрыва, однако, не произошло. Не совершилось и нежданного удара в спину. Видимо, сметя силы, кашинский князь решил не рисковать.

Алексиево проклятие продолжало действовать. Хотя князь и побывал на службе, но в церкви его сторонились, как чумного.

От Кашина полки уклонились к северу, забираясь в леса. Думали уйти от засух, жары и пожаров, но становилось все хуже. Горели моховые болота. В воздухе висел дым и странная темная мгла. Уже на две сажени вперед было ничего не видать. Сидя на телеге, свесивши ноги на сторону, Онька смутно различал лишь голову своего коня. Парни, Фрол с Федюхой, ускакавши вперед, куда-то пропали.

То ли от дыма, то ли еще от чего войско наконец встало. Сквозь леса, и верно, было не пройти. И когда, ощупью пробираясь вдоль возов, бояре начали заворачивать ратных назад, мало кто и ведал, что к Михайле дошли вести о том, что городецкий князь Борис не выстанет вместе с ним, а ярославский и тем паче, и что Михайло может оказаться со всею своею ратью под Костромой в плену у московских воевод.

Когда измученные, полузадохшиеся ратники добрались до Мологи, моложский князь отказал Михайле и в кормах, и в постое. Это послужило последнею каплей. Почти без приказа, разобрав копья, топоры и рогатины, тверичи пошли на приступ. Город был взят в какой-нибудь час и жестоко разграблен. Когда

Михаил въезжал в Мологу, топча копытами коня обрушенные створы ворот, в улицах стоял вой, из дыма выныривали раскосмаченные, спасающие свое добро от озверелых тверичей жонки, а над тынами уже плясало светлое радостное пламя, с треском пожирающее пересушенные хоромы горожан.

Онисим с трудом разыскал своих парней. Федька явился ужасно гордый, раненный, но в чужой броне, захваченной у убитого им моложского ратника. Фрол, пыхтя, волок за собою корову. Коляня и тот стал на себя непохож: соскочивши с телеги, остановил, схватив за шиворот, бегущего посадского и, дав ему дважды по шее, отобрал увесистый мешок с железною кованью, которую и бросил, не рассматривая, в телегу. Онька в грабеже не участвовал, берег коня. Собравшись, все четверо с трудом выпихались из горящего города.

От Мологи рать растянулась вдоль волжского берега, тут было легче дышать и видно было чуть-чуть подалее, однако и здесь, над Волгою, небо висело словно бы пораженное чернотой и смутный лик солнца, изъеденный пятнами, словно черною проказой, едва просвечивал сквозь мутную страшную темь.

В долгоносый волжский дощаник мужиков насело столько, что вода шла едва не вровень с бортом. Коней, плывом, тащили за собой. Волга мелела, то и спасло от потопления. Черпанули набоем уже на мелководье и, изрядно вымокнув, выбрались-таки на берег, не растеряв оружия. Здесь тоже стоял тяжелый, пахнущий гарью туман. Город Углич был едва видим, призрачные бревенчатые костры являлись из тумана как бы висящими в воздухе. Онисим шел рядом с конем, положа руку на луку седла, удерживая сына, чтобы не поскакал вперед: погинет сам и коня погубит! На кони на стену все одно не взойдешь! Стрелы уже густо летели из мглы, втыкаясь в рыхлую землю почти у ног, а то и прочеркивая густой, тяжелый воздух. Онька почти не увидел, когда Федюха, охнув, начал сползать с коня. «Второй!» — помыслилось. Но руки сноровисто и ловко делали свое, рана, слава Господу, была не смертельна. Только пока сдирал кольчугу, пока искал, где с бульканьем выходила руда, за время, что перетягивал и налагал жгут с мазью, сын потерял много крови и едва не лишился сознания. Оттащил малого назад. Кольчатую рубаху, прикинув на себя, отверг: мала оказалась Оньке, засунул в торока, не то сопрут. Раненые лежали на попонах целою вереницей, и Онька, потоптавшись и поняв, что тут будет за сыном уход, пошел шагом в свой полк. Его самого убить не должны были, так понимал, и потому шел не опасаясь, с единой думою о сыне: как-то он там?

На улице останавливали раз пятнадцать. Где-то горело, посадские тушили пожар. От своих вызнал Онька, что князь Михайло намерен оставить тверского наместника в городе и потому жечь не велит.

Поздним вечером сидели за трапезой. Федор был в жару, полулежал на припечке, хозяйка отпаивала его какой-то своей особою травкой. Онька и еще два ратника — тоже попросились на ночлег — ели кашу, по очереди черпая кленовыми ложками из горячего горшка. Хозяин все суетился: то забегал в избу, то совался во двор и хлев. Верно, больше всего трепетал за коней и скотину. Сам он промышлял извозом, и лишиться коней ему было — смерть.

На расставанье он подарил тверским ратникам по рубахе, хозяйка вынесла Оньке целый большой угличский сыр. Провожая, кланялись, верно, благодарили за то, что загоряне не свели коня. Федора Онька, взгромоздясь в седло, вез перед собою на лошади. У парня голова моталась от слабости, но жар — спасибо угличской старухе — сошел. Даст Бог, оклемает! — думал Онька, отходя от первого ужаса.

Всю дорогу, пока тряслись по дымным колеистым проселкам в туманном мороке, давя ползающих по земи птиц, до Бежецкого Верха и пока снова брали город на щит (здесь тоже князь Михайло поставил своего, тверского воеводу), Онисим думал об одном: довезти бы сына живым до дому! Тяжелогруженая телега едва шла, скрипя всеми членами своими, колеса качались в осях, выписывая восьмерки. Сам он исхудал, отвердел, весь пропах гарью и дымом и, когда шел домой, рядом с возом, понукая спавшего с тела коня, не думал уже ни о чем. Когда Таньша бросилась к возу, заполошно всплеснув руками, вымолвил только сорванным голосом:

— Жив!

Федюху, в опрелой рубахе, черного — одни глаза на лице да худые мослы бессильных рук и ног — заводили, почти затаскивали, под руки.

Уже когда обрали вшей, выпарились, отмыли и обрядили в чистое парня, а Недашиха поколдовала над ним, приложивши к ране свежие травы, вытягивающие гной, сидя за столом, Онька немногословно повестил о походе. Федюха слабым голосом подсказывал. Спасшись от смерти, достигнув дома и чуя, что уж дома-то беспременно оживет, он снова стал счастлив и горд походом, боями, нятьем городов, собственной, как казалось ему, ратною доблестью. Малыши сидели округ него, во все глаза и уши внимая старшему брату. Дом был свой, не порушенный, не сожженный ворогом.

— В Углече Поле стояли у мужика одного,— выговаривал Онька, туманно глядя куда-то вдаль,— вота конь у его был! Да жалко стало свесть, разорить мужика...

— Ну и добро! — отвечала сурово Таньша.— Бывает, и нас кто пожалеет когда!

— Хлеб-от посох?

— А на верхнем поле и не жали вовсе! — отмахнула Таньша рукою.

— Так! — высказал Онька и, опустя голову, понуря плечи, повторил с оттяжкою: — Та-а-а-к... — Куля ржи, который они привезли с собою, могло хватить самое большее на месяц-два.

— Опять, стало, кору будем толочь! — горько и твердо выговорил он. Таньша отозвалась, не оборачиваясь, от печки:

— Старуха Недашиха говорит: корень один болотный хорош заместо хлеба! Только надо теперь его дергать, до зимы! Я уж девок сошлю своих да Коляниных — позволишь?

— Сошли! — отозвался Онька, думая уже о другом. Пройдя весь путь со княжескою ратью, начал он понимать, что война с Москвою только еще начата и совсем неведомо, чем и как окончит и не явятся ли теперь сюда, к ним на Пудицу, московские ратные, отмщая за погром городов?

Глава 33

Посольство в Орду с князем Дмитрием отправлялось внушительное,— всё великие бояре московские. С ними киличеи и толмачи, десятка четыре «детей боярских», два попа и четыре дьякона, спасский архимандрит со своими служками, сотни две слуг. Везли в клетках двух живых медведей в подарок хану. С княжеским караваном отправлялись купцы к ежегодному конскому и скотьему торгу — русичи, сурожане, кафинские фряги. Везли с собою закупленные в московском торгу связки беличьих шкурок, меха горностаев и соболей, бобров, лисиц, зайцев, ласок, а также медвежьи и рысьи шкуры. Московиты везли седла, уздечки, сабли, замки и прочую кузнечную ковань. Везли холст, шерсть, сало морского зверя, воск и мед. В Орде те же возы нагрузят солью, дорогою рыбой, черной икрой, кожами и разноличным сурожским и кафинским товаром — тонким полотном, шелками, бархатами, сукнами и парчой. Опытные табунщики погонят на Москву купленных в Орде степных низкорослых, невероятно выносливых лошадей.

Князь Дмитрий был тих и, не признаваясь никому, робел. Вглядываясь в лица бояр, гадал: как поступит тот и другой, ежели Мамай повелит его схватить? В ночные часы, просыпаясь в шатре и слушая далекое подвывание волков, думал, вспоминал... И таким малым казалось дело, затеянное некогда Алексием: вся эта суета сует, борьба за наследственное великое княжение, грамоты и соглашения, тайные пересылы и подкупы, нятье тверского князя... перед возможною кровавою расплатой, перед древнею ширью степей, поглотивших и растворивших в себе тьмы тем языков и народов!

Днем, на людях, было легче. Он выезжал наперед. Конь шел, расталкивая грудью травы. Сокольничий спускал сокола и, подскакав, передавал князю сбитого соколом селезня. Светило солнце, такое же туманное, в черных гвоздиках пятен; оно все-таки над степью казалось ярче, чем над Русью, небо которой было затянуто мглою боровых пожаров. Реки старались переходить в верховьях, вброд, и Дмитрию так и не довелось узреть татарского способа переправы, когда под возы набивают связки речного камыша, вяжут плоты из сухостоя и, привязав их к хвостам лошадей, плывом плывут к тому берегу. Бывалые гости сказывали, что вся Орда таким способом за два́ дня переправляется через Дон.

Орда показалась к вечеру второго дня. Там, вдали, на гаснущей закатной полосе, явились наконец движущиеся по степи островерхие домики, донесся надрывный скрип осей. Это катились татарские широкие двуколки с юртами, поставленными на колеса. На охряно-желтой полосе заката колыхалась, то сжимаясь, то распадаясь, лавина всадников, и шум, неразличимый, но грозный, растекался все шире по степи.

Ночью лилось и лилось мимо них человеческое степное море, и утром Дмитрий увидал, что их караван стоит на краю широко раскинутого войлочного города, в середине которого подымались круглые шапки ханских юрт, а вчера еще колыхавшаяся травами степь вся вытоптана, сплющена, избита до черной земли и не в отдалении от них уже шумит развернутый базар, с шатрами и юртами, обращенными в купеческие лавки, с выстроенной за одну ночь из привезенных с собою жердей огорожею, за которой плотно, голова к голове, помещался выставленный на продажу скот — в основном быки и овцы.

В едкой, поднятой копытами и уже не оседающей пыли невеликая вереница конных русичей пробралась к ханским шатрам. Здесь было зеленее и легче дышалось. Ханские нукеры приняли у них коней и оружие. Ноги, привыкшие к стременам, плохо слушались, и Дмитрий едва не споткнулся на пороге шелковой ханской юрты. Внутри показалось сразу темно, и он не враз узрел хана и Мамая, восседавшего справа от него на таком же низком позолоченном троне.

Бояре говорили речь, передавали, разворачивая, подарки. Дмитрий склонял голову, низил глаза. Думал: неужели это никогда не окончит? Какое же великое княжение изготовил ты для меня, Алексий! Ежели оно вновь и опять зависит от того, кто восседает пред ним на троне, меж тем как он, великий владимирский князь, стоит, опустив голову, и ждет милости, как нашкодивший мальчишка порки родительской. Да и поможет ли чему его унижение и лесть московских бояр?!

Прием окончился. Пятясь, московиты покинули ханскую юрту. Вечером у него в шатре, за походным, собранным из досок столом, собрались бояре, толковали, спорили, и Дмитрий узнавал с удивлением, что уже кое-кто видел «Ивашку», сына князя Михайлы, иные успели перемолвить с бесерменами или эмирами хана, и все сходились на том, что «дело неметно» и что кто-то тут «сильно пакостит», как будто бы то, что они своею волею нарушили ханский указ, не пустив Михайлу на великое княжение, не было уже пакостью предостаточной! Кошка после ужина тотчас смотался куда-то, ушли и еще двое-трое бояр из тех, кто бывал в Орде и ведал татарскую молвь.

Тимофей Василич предложил Дмитрию сыграть в шахматы. И, неспешно передвигая фигуры, резанные из клыка древнего, как сказывали, подземельного зверя (клыки эти купцы привозили из-за Камня, променивая у вогулов на соль и железные ножи), сказывал князю неторопливо, в чем тут у них обнаружилась сугубая трудноta. Во-первых, отстали. Тверичи успели задобрить кого мочно, и «Ивашка малой» у хана теперь в сугубой чести. И во-вторых, и генуэзские фряги, видать, пакостят. Рвутся сами на север, в земли полуночные, за мехами, не хотят покупать у нас, на Москве! Ну, а мы не даем, не пускаем...

— Быть может?..— начал Дмитрий, коему поблазни-

ло было, что тут, оказав послабление фрягам, можно выиграть тяжбу у хана.

— Ни-ни! — поднял умные лукавые глаза Тимофей.— Их допусти только, живо и без портов оставят! Нечем будет и Орде выход давать! Ну, а другое, княже... Как бы етто сказать подельнее... Есть и еще зазноба немалая! Чаю, без латынских попов тута не обошлось! Кошка пошел сглядать, бывать, вызнает чего! Ладно, давай почивать, княже! Утро вечера завсегда мудренее!

Глава 34

Тимофей Василич угадал верно. Да ведь полдела назвать болесть, а как ее вылечить?

В разноязычной толпе гостей торговых, сопровождавших великого князя московского, ехал и Некомат, московский оборотистый сурожанин, владелец караванов, лодей, торговых вымолов и сел под Москвою, в Сурожском стану. Устроив товар, нагнавши страху на приказчиков, проследив за тем, чтобы тюки, коробьи и бочки были разгружены и помещены под надежную охрану, он к вечеру того дня, когда князь Дмитрий с боярами пребывал на ханском приеме, разыскал — идучи пеш с одним лишь надежным слугою, стариком татарином,— на краю пестрого и обширного палаточного города неприметную юрту, внешне неотличимую от прочих, из которой, однако, доносились звуки латинского «te Deum» («Тебя, Бога, хвалим!»). Быстро перекрестив чело латинским крестным знамением и склонив голову, Некомат вступил в шатер, бросив придвернику-генуэзцу несколько слов на своем языке.

Внутри шатра, освещенного хорошими витыми чистого ярого воску свечами в серебряных шандалах, был воздвигнут походный алтарь, и человек в католической сутане служил, складывая ладони и обращая лик к большому распятию. Несколько итальянских купцов молились, подпевая двоим юношам-певчим. Некомат (здесь его знали под именем Нико Маттеи), одними глазами поздоровавшись со знакомыми, присоединился к молитвенному пению и больше, пока не кончилась вечерня и пока не был вновь пропет благодарственный канон, не подымал глаз.

— Мессер Маттеи из Москвы? — вопросил у него над ухом незнакомый голос. Властные глаза человека, привыкшего повелевать, не давали ошибиться, хотя и был незнакомец одет в простой овечий, порядком засаленный казакин. Некомат согласно опустил голову и, быв приглашен, тотчас вступил за занавес во вторую половину шатра, отделенную от первой, где уже ждали несколько генуэзцев, среди коих он узнал кафинского консула, а также мессера Андреотти и Барбаро Риччи, крупнейших торговцев мехами и живым товаром во всех восточных итальянских колониях. Скоро к собравшимся присоединился, сняв верхнее облачение, и патер, бывший, о чем знали немногие, не просто патером, но каноником престола святого Петра из Рима и фактическим папским нунцием в Орде. Была подана очень скромная трапеза: кислое молоко, хлеб, овечий сыр, сушеные фрукты. Присутствующие явно собрались не для того, чтобы пировать.

Бритый человек с властными глазами спрашивал. Некомат отвечал, понявши, что безопаснее не выведывать, кто перед ним, и говорить только правду. Незнакомца интересовало решительно все: цены на меха в московском торгу, имена и значение при дворе великого князя всех крупных бояр, отношение к каждому из них великого князя Дмитрия, значение митрополита Алексия и его авторитет среди народа и знати. (Тут, услышав, что московиты боготворят Алексия, каноник досадливо нахмурился.) Вопросов о тверском князе и тверичах почти не было. Видимо, все надобное о Твери незнакомец себе уже уяснил.

Мессер Андреотти, вмешавшись в разговор, вновь начал выспрашивать, почем продают меха в московском торгу и за сколькую цену их можно бы было купить на Севере?

— Цену? — возразил Некомат, небрежно пожимая плечами.— Цену, мессеры? Железный котел набивают собольими шкурками, плотно уминая, сколько войдет до краев — и это цена того котла!

Разница была столь велика (в сотни раз!), что генуэзские гости переглянулись друг с другом, почти застонав, с голодною алчностью в глазах.

— Даст ли тверской князь нашим торговцам право свободного проезда на север?!— требовательно вопросил мессер Андреотти. Но незнакомец в овечьем казакине слегка приподнял руку, останавливая неуместный взрыв купеческого корыстолюбия. Наступила тишина, и подал голос папский нунций. Оглядев собравшихся, он негромко и серьезно отмел враз их имущественные вожделения.

— Неделю назад отсюда, направляясь в Москву, проехал митрополит иерусалимский Герман за милостыней и помочью. Москва становится опорою схизматиков, и пока она стоит во главе союза русских княжеств, греческая церковь будет постоянною противницей римского престола.— Он приодержался, обвел присутствующих внимательным взором строгих глаз, словно бы несколько сомневаясь, что купцы сумеют воспринять всю серьезность сказанного.— Когда Иоанн Палеолог подписывал в Риме символ унии, с ним не было ни одного греческого священника. Уния была сорвана по инициативе патриарха Филофея и при прямой поддержке Москвы! Ежели бы не сопротивление московских схизматиков, не этот старый упрямец, митрополит Алексий, то уже теперь христианская церковь, разорванная гибельным уклонением церкви греческой в схизму, объединилась бы вновь под знаком латинского креста. И престол святого Петра, воздвигнутый первым из апостолов Иисуса, владычествовал бы над всеми христианскими странами!

— И ваши торговые привилегии, господа,— подал голос бритый,— устроились бы сами собою!

— Ежели бы не противодействие Москвы?

— Да, ежели бы не противодействие московской митрополии!

— Для чего надобно...— начал наконец понимать Некомат,— помочь Михаилу Тверскому?

— Более того! — живо подхватил нунций.— Рим го-

тов временно объединиться с мусульманами! Наши люди ищут связей с Тимуром!

— Но Тимур — враг Мамая?

Вмешался консул:

— Мамай берет у нас деньги, чтобы платить своим эмирам, и не препятствует кафинским купцам покупать русских рабов в Орде!

— Генуэзская республика опасается усиления турок на Мраморном море! — сказал доныне молчавший Барбаро Риччи. Но бритый незнакомец тотчас возразил ему:

— Союз христианнейших государств, вновь объединенных под волею римского первосвященника, возможет сокрушить любую угрозу неверных!

— Но ежели тверской князь получит владимирский престол и объединится с великим князем литовским, не победит ли и там схизма? — вопросил, не уступая, Барбаро Риччи.

— Нет! — прервал его нунций.— У нас есть твердая уверенность, что в Литве победит истинная римская вера! В Вильне католиков не намного меньше, чем схизматиков, а Ольгерд уже стар и не решится теперь утвердить в своей земле греческое православие. Но для того, чтобы этот союз стал действительностью, господа, вы должны напрячь все силы, дабы московский князь Дмитрий не получил вновь великого княжения.

— И помните,— договорил бритый,— *нам* ведомы не только слова, но и тайные помышления людские!

Расходились в полной темноте и поодиночке. Нико Маттеи уже было достиг середины пути, когда его крепко хлопнули по плечу. Он обернулся, в темноте не сразу поняв, кто это и что ему нужно.

— Здравствуй, Некомат! — весело окликнули его. Перед ним стоял улыбающийся Федор Кошка.— Гляжу, московский приятель! С нами прибыл? Как я тебя в караване-то не углядел? — продолжал Федор ласково-глумливо, крепко забирая слегка упирающегося генуэзца под руку.— Пойдем, пойдем! Ради такого дела и выпить не грех! — Он силою поволок фрязина к себе в шатер. Некомат, которому вырываться из боярских объятий, памятуя свои дела на Москве, было неприлично да и опасно, подчинился насильному приглашению. Был затащен в шатер и напоен столь крепко, что домой его волокли на руках, и, проснувшись назавтра с раскалывающейся от боли головой, он никак не мог вспомнить, о чем толковал ночью с московским боярином и не проговорился ли ненароком о тайной встрече.

Федор Кошка узнал-таки от Некомата немного и, отослав мертвецки пьяного фряга домой, сугубо задумался. Явно было одно: латиняне готовят какую-то измену, но какую? Он послал за каждым из собравшихся итальянцев по татарину-соглядатаю, но выяснил лишь то, что хуже всех одетый бритый фрязин является самым уважаемым среди них. Выяснил он, день спустя, что среди генуэзцев был кафинский консул. Это уже что-то значило.

Сообразив и сопоставив, посоветовавшись с Тимофеем Вельяминовым, который подсказал ему, что речь могла идти о разрешении фрягам свободного проезда на север для скупки «мягкой рухляди», Кошка в конце концов, призвав на помощь все свои добытые в Орде сведения, понял, что фряги так или иначе будут бороться против возвращения ярлыка Дмитрию. И помочь москвичам могли две вещи — серебро в неслыханных, диких количествах и не ведающие сами о том ак-ордынцы, сведения о движении которых достигли ушей Кошки, но еще не были ведомы кафинскому консулу.

— Ладно! Палеолога Ивана вы в Царьграде посадили, Кантакузина свергли, так? Так! — отвечал он сам себе, лежа на спине в глубине юрты, разослав всех своих послужильцев и нанятых соглядатаев следить за тверичами и фрягами.— Ладно! Кантакузина сняли! Дак и что? Ноне и Русь не терпится тем же побытом под себя забрать? А тогда: торгуй — не хочу, полный простор до самого моря Ледовитого! Так? Так! Да, поди, и наш владыка Алексий им нелюб, ежели они унию замыслили! Так? Так! Ну, и что надобно сказать Мамаю? Католиками его не испугаешь... Ольгердом? Ольгердом — мочно! Ну, а ежели Урус-хан с востока нажмет... Самая любота! Тут уж пенязи подавай, и — кто больше! — Он перевернулся на живот, растирая зубами сорванную давеча терпко-горькую травинку. Подумал, прижмурился, легко вскочил на ноги. Упредить фрягов надобно! Голова князя Дмитрия, зело некрепкая еще день назад, теперь, показалось ему, стала держаться чуть-чуть прочнее.

Кого и чем надобно подкупить в Орде? Был взят в оборот Сарыходжа, многие эмиры. Все бояре были в разгоне, один Дмитрий сидел, томясь заложником ханской воли, и не ведал своей судьбы. Впрочем, так же сидел юный тверской мальчик с долгими красивыми ресницами темных гордых глаз и тоже не ведал, чем окончит ордынская пря.

Мамай, которому генуэзские фряги наговорили столько, что он уже переставал верить им, наконец согласился принять московских посланцев келейно, у себя в шатре.

Сидели без толмачей, ибо оба московских боярина — Данило Феофаныч и Федор Кошка отлично говорили по-татарски, а окольничий Тимофей хоть и не говорил, но понимал сносно почти все.

Мамай, пыжась и кутая руки в рукаве, озирал троих рослых русичей, которым он, конечно, откажет (как советуют ему фряги), но сперва выслушает и, быть может, выведает тайности, о коих ему еще не донесли слухачи. Он хитрит, но хитрый разговор все поворачивает куда-то не туда. Молодой московский боярин Федор, похоже, словно бы даже и жалеет его, Мамая, и постепенно, шаг за шагом, почти нехотя, раскрывает ему обман хитрых католиков, замысливших погубить Золотую Орду (уже теперь Синюю) руками белоордынцев, которые из благодарности вовсе не станут тогда брать пошлин с кафинских товаров.

Мамай не верит никому, но москвичи его вовсе и не заставляют чему-то верить, а лишь — подумать путем: почто князь Михайло не взял татарской рати, а воюет меж тем великое княжение и теперь? Взял города Мологу, Углече Поле, Бежецкий Верх, забирает Волгу, дабы перенять волжский ордынский

путь! А Урус-хан? А Ольгерд, союзник Михайлы? Разве не на единой помощи русского улуса держалась доселе Орда? Разве не московские рати сокрушили Булгар, посадивши там царя, угодного Мамаю? В чьих руках немедля окажется Мамай, чуть только кафинские фряги перестанут его снабжать серебром и начнут помогать Тимуру? Дмитрий ему не враг! Князь Дмитрий привез подарки, серебро и жемчуг, меха и оружие. Мамай все это получит от тверского князя? Получит ли? И не поздно ли будет получать?!

Мамай колеблется, думает, отлагает встречу. Русичи подымаются с ковра. Просят принять подарки. Мамай будет думать, и пока он думает, идет бешеный подкуп и перекуп эмиров. Больше всех старается за Москву Сарыходжа, иначе ему не сносить головы!

Орда уже снова свернула стан. Уехали, угоняя купленный скот, купцы. Ушли обозы с солью. Уехал мессер Барбаро Риччи. Бритый незнакомец отправился далее, в Персию. Купцы после его отъезда переругались друг с другом. (Двоих Федор Кошка сумел перекупить обещаньями сказочных барышей на Москве.) На чаши колеблющихся весов ложились все новые слитки русских гривен. Серебро забирали уже по заемным грамотам у купцов. Князь Дмитрий обветрел, загорел, похудел, мотаясь в седле целыми днями. Раза два издали видел Ивашку Тверского. А на востоке вырастала ратная угроза, предсказанная Федором Кошкой, подступала новая битва за Сарай (который на этот раз, и на столь же недолгий срок, удастся захватить Мамаю), она-то и решила дело. На очередном приеме Мамай предложил за неслыханную сумму вернуть ярлык князю Дмитрию. Мамай не думал при этом, что совершает подлость. Мамай думал о другом. Договор, когда-то составленный Алексием об ордынском выходе, оставался не пересмотрен. Конечно, сейчас он получит так много, что победа над Черкесом и Урус-ханом ему обеспечена. Но потом? Впрочем, о «потом» Мамай думать не очень умел и после пристойной торговли, жирно вздохнув, выговорил:

— Клади серебро, бери ярлык!

Вот на что ушли и вот чем окончились три месяца сиденья великого князя Дмитрия в Мамаевой Орде. Увозя медведей в клетках, везли теперь на Москву за собою власть. Михаилу же был послан издевательский фирман такого содержания: мол, мы давали тебе рать, а ты не взял, «рекл еси своею силою сести, и ты сяди теперь, с кем ти любо».

Глава 35

Вокруг Москвы горели моховые болота. В улицах было трудно дышать от горького смрада. Солнце едва светило сквозь мутную темь. И когда в этом сраме и обстоянии пришло доставленное скорым гонцом послание Филофея Коккина, старый митрополит уже ведал, что не с добром.

Он торопливо вскрыл печать, развернул свиток. Греческие буквы прыгали в глазах...

«Патриарший питтакий к преосвященному митрополиту Киевской и Владимирской Руси... Возлюбленный брат и сослужитель нашей мерности, благодать и мир»...— глаза досадливо пробегали вереницу хвалебных речений, добираясь до сути. А! Вот оно! — «...Огорчает, что ты заботишься не о всех христианах... Но утвердился на одном месте, все же прочие места оставил без пастырского руководства, без учения духовного и надзора. Вот что огорчило нашу мерность и священный собор...»

А о том, чем окончилась моя пастырская поездка в Киев, Филофей уже не помнит?! И собор ханжески закрывает глаза на истинное течение дел! Да, вот так! «...Король ляшский, Казимир, владеющий Малой Русью, и другие князья... избрали... епископа Антония... Если же не будет... вашего благословения на этом человеке, то не жалуйтесь, мы вынуждены крестить русских в латинскую веру... Что оставалось нам делать?»

И Алексий, уронив грамоту на колени и смежив утомленные глаза, представляет себе Филофея — мятущегося, доброго, полного всяческих талантов и великих замыслов и — такого беспомощного перед грубой силой принуждения!

Что ему оставалось делать?! Почему римские первосвященники дерзают спорить с королями и поучать императоров? Что ему оставалось делать? Что?!

Алексий поднял грамоту, дочел, что новопоставленный митрополит получил епископии Владимирскую (Владимира-Волынского), Перемышльскую и Холмскую, что даже Луцка ему не дали, ни другой какой епископии...

Ну, а на другие потребует себе митрополита Ольгерд! — мысленно возразил он Филофею.

Филофей Коккин писал, что посылает на Русь близкого себе человека, Иоанна Дакиана, просил поведать через него о делах. Все это было уже несущественно, как и разрешение не приезжать в Константинополь (все равно без личного присутствия отрешить его от сана по закону они не могут).

Горечь! Горечь измены была в этом письме. И — какое еще зелие ядовитое поднесет ему Иоанн Дакиан?

Алексий в этот день с трудом собрался к служению и, разоболокаясь после обедни в соборе Богоявленского монастыря, едва не упал в обморок.

И все-таки на нем, на этом старце, оканчивающем восьмой десяток лет, держалась доднесь судьба государства Московского!

Благодаря прещению Алексиеву, города по-прежнему не спешили предаваться Михайле Тверскому. Земля ждала исхода новой ордынской тяжбы, земля раскачивалась медленно и, приученная за десятилетия к власти Москвы, возможно, и потому еще медлила задаться за Тверь.

Михаил опоздал. Он опоздал на целую жизнь. Будь он не внуком, а сыном своего великого деда, быть может, он и сумел бы поворотить историю!

В сентябре пришло очередное послание Филофея, вызывающее Алексия на суд с Михаилом Тверским. В осторожных, но твердых выражениях Филофей Коккин советовал Алексию до суда разрешить тверичей от наложенной на них епитимии. Разрешить самому, ибо: «Я нашел неприличным, чтобы запрещенные тобою получили разрешение от меня».

В той же грамоте Филофей просил не подвергать

осуждению архимандрита Феодосия, приходившего ходатаем от Михаилы Тверского к патриарху. Теперь Алексий не удивился бы, даже узнавши, что Филофей позволил Ольгерду открыть свою, литовскую, митрополию...

Алексий принял Дакиана, узнал от него о миссии Киприановой в Литве, решив, впрочем, тут не перечить Филофею. И где-то уже Филипповым постом дошли из Царьграда новые грамоты. Филофей Коккин советовал и Алексию и Михайле примириться, не прибегая к помощи патриаршего суда, «который может оказаться тяжек для вас»,— заключал свое послание Коккин.

Алексий, к счастью для себя, не знал, что то была рука Киприана, который уже начинал втайне собирать свидетельства недовольных Алексием, дабы ходатайствовать в будущем о замене престарелого митрополита другим, более покладистым и ловким, человеком, под коим он разумел самого себя, Киприана Цамблака, и что суд с тверским князем мог бы действительно стараньями Киприана оказаться тяжек именно для Алексия...

Глава 36

В будущем было всё: и сражения, и мирные договоры, и совместная борьба с Литвой, но вот этого декабрьского 1371 года похода Олег Дмитрию не прощал никогда.

Поход подготовил Андрей Иванович Акинфов перед тем, как умереть.

Умирал Андрей трудно. Задыхаясь от удушья и кашляя, он, однако, не покидал Москвы, ибо только тут мог собирать у себя бояр и убеждать, стращать, уговаривать, все об одном и том же: что ежели Михайло вновь приведет Ольгердовы рати на Москву, а Олег Рязанский ударит с тыла, им — конец. И, кажется, уговорил.

Мы не знаем, принимал ли участие в организации этого похода Алексий, по-видимому, нет. Олег никогда не обвинял в несчастиях своих старого митрополита, а мирил его с князем Дмитрием впоследствии ближайший к Алексию человек — игумен Сергий Радонежский. Скорее, видна тут рука коломенского окружения Дмитрия, того же Митяя и других. Так или иначе, поход бы, возможно, и не состоялся, не появись на Москве волынский князь и воевода Боброк. Новонаходнику требовалось показать, на что он способен, и когда Дмитрию Михалычу было предложено возглавить выступление против Олега Рязанского, он только утвердительно склонил голову и тотчас принялся уряжать полки. На Рязань шла не только кованая конная рать, но и коломенское ополчение. Боброку придавался также московский полк «детей боярских».

Наталья Федоровна как раз привела обоз на Москву и по обычаю остановилась с сыном в гостеприимном Вельяминовском тереме.

Ваня, загоревшись воинским пылом, прибежал к матери: его могли взять вестоношей в московский полк.

— Мамо! Мамо! — Ванюшка прыгал от нетерпения.— Да батя в мои лета уже воевал! — И, поглядев внимательно в глаза сына, Наталья, с падающим сердцем, разрешила ему идти в поход.

Последний раз промелькнул-покрасовался он перед нею, румяный, веселый, ловко сидящий на коне, опоясанный, скорее для красы, чем для боя, долгим ясским ножом в ножнах, с легким, приторочённым к седлу копьем. И умчался, ускакал, растаял в падающем пушистом звездчатом снегу, неразличимый в валом валящей, ощетиненной копьями московской рати.

Рать ушла по коломенской дороге и исчезла в снегах. Ни вести, ни навести. Наталья ходила на владычный двор, искала Станяту-Леонтия. Ее едва допустили к нему. Леонтий провел вдову в свою келью, кратко, но твердо осенив себя крестным знамением, усадил в высокое резное кресло с прямою спинкой и плоскими подлокотниками, дал волю выплакаться. Станята заметно постарел, стали суше и костистей черты лица, заметно одрябла кожа на руках, в остальном же он достиг того возраста, когда течение плотской жизни как бы замедляется в человеке и годы, прибавляя возраста зрелости, почти не меняют оболочину внешнего естества. Он внимательно, не прерывая, выслушал Наталью. О ее страхах за сына сказал просто:

— Грядущего и судьбы своей невемы! Быть может, в том сугубая благость Господня, иначе трудно было бы жить! Я во младости желал многого, бродил семо и овамо, из веси в весь... Был в Царьграде не раз, тонул на море, в Киеве вкупе со владыкою ждал смерти в яме... А теперь осталось одно: довершить объединение Руси и опочить вкупе с владыкой Алексием! Господь премудр! И только он един ведает, для чего существуем мы, смертные, и в чем наш долг и подвиг на этой земле! Единое скажу: в служении своем надо не окосневать, ежечасно прилагая все силы к деянию. Возможно, сын твой и прав, начавши так рано жизненную стезю! Не кайся, и верь! Вера помогает во всякой, и даже конечной, трудноте!

О Никите оба молчали. Только уже в конце беседы, понимая, что непристойно долго обременять монаха и владычного писца мирскою беседой, Наталья, подымаясь и складывая ладони для благословения, выговорила:

— Я ему надела Никитин крестик, тот самый, не грешно сие?

Леонтий чуть улыбнулся и покачал головой, успокаивая Наталью. О том, трудно ли ей быть волостелем заместо Никиты, Леонтий не спросил тоже, и Наталья в душе была за то благодарна ему. Ибо иначе, не сдержав сердца, стала бы жалиться, и покаяла потом.

А четырнадцатого декабря скорый гонец, сменив по пути трех лошадей, донес весть, что был бой с Олегом на Скорнищеве и что москвичи одолели, а Олег бежал невестимо.

На Москве ликовало все. Правду сказать, Олега опасались многие.

Полки возвращались радостные, пронзительно звучали дудки, ревели рога, тысячи слобожан и посадских оступили дорогу, встречая победителей.

Наталья места себе не находила. Вот уже воротился и московский полк — Ванюшки все не было. В радостной суматохе встречи узнать что-либо было попросту не-

возможно. И ежели бы Ванюшка не явился еще день спустя на двух возах с обилием из Острового, неведомо, что бы и содеяла над собой Наталья с отчаяния...

Глава 37

Дети пришли со звездой, на улице топчутся в латаных зипунишках, в липовых, березовых ли лапотках, постукивают намороженными ладошками, дуют на пальцы. Рождество!

Хоть и голод, хоть и полна Москва убогих и сирых, а в деревнях уже начинают мереть с голоду, все равно — Рождество! Рождество Христово — и боярыня на дворе раздает славщикам печеные козюли, шаньги, аржаные пряники. Дети с голодными глазами суют даренья в холщовые торбы: будет что дать малой сестренке, будет чем угостить лежащую в жару мать.

Христос рождается! Еще один, ничего не решивший год, год ужаса и войны, пожаров, засухи и погрома городов близит к концу (еще не окончен: год мартовский!). Нынче девки ворожат о счастье, смотрят в кольцо, заклинают суженого. Назавтра по городу пойдут в личинах и харях кудесы, будут кружиться и хрюкать и тоже собирать дареные пироги, а то и куски хлеба, где и сухарь подадут — боле ничего у самих нет, и все-таки — Рождество! Празднуют праздник, как и лонись, как и два, и три, и сто лет назад. Празднуют, а значит, земля не изгибла, не утеряла памяти своей, не окончилась (ибо с концом древних празднеств, с концом памяти, предками завещанной, кончается и земля, и язык, в ней сущий).

Дуня спускается во двор, колыхаясь, словно утка. Она в соболиной невесомой шубейке, круглая, точно кубышка, ей вот-вот родить. Сенные девки держат блюда и решета с гостинцами. Великая княгиня оделяет заедками и пряниками славщиков. На нее смотрят во все глаза, теснятся — получить княжеское угощение! Не была бы на сносях, назавтра сама пошла бы по дворам ряженою кудесить. На Святках — все можно!

Не так давно как-то тихо и незаметно угас ее первенец, Данилушка. Дуня рыдала в голос, но и на диво быстро отошла. Муж был рядом, жаркий, заботливый, и внутри себя так ясно уже ощущала она дыхание новой жизни! И теперь беспричинное счастье переполняет молодую великую княгиню — скоро родить! (И по бабьим приметам — сына, Василия, как они уже договорились с Митей.) Батюшка приезжал Филипповым постом из Нижнего, сказывал о своем, привез подарки. А теперь ее Митя Олега Рязанского разбил и согнал со стола! Все будет хорошо!

Родила Евдокия сына Василия, будущего наследника престола, тридцатого декабря, на память апостола Тимона, и великий князь Дмитрий на радостях поил и кормил в Кремнике полгорода. А там подоспело и Крещение с торжественным водосвятием и крестным ходом к йордану на Москве-реке; а там и свадьба Владимира Андреича, коему привезли невесту литовские послы. И снова рекою разливанною лилось пиво и стоялые меды, и князь Владимир сам, щеголем стоя в рост в изузоренных легких санках, нарушая чин и ряд, прокатил свою невесту по льду Москвы-реки. А она взглядывала из-под ресниц лукаво и зазывно, ничуть не испуганная бешеным ходом коней. Жених с невестою разом понравились друг другу, и эта вторая свадьба в великокняжеской семье обещала быть не менее удачной, чем первая, самого князя Дмитрия с суздальской княжной.

...Как бы хотелось, забыв обо всем ином, погрузиться целиком в этот сверкающий праздник! В роскошные наряды знати, в золото облачений клира церковного, в масляничные катанья, бег разубранных лентами и бубенцами коней... А кулачные бои на Москве! А узорные платы и жемчужные рогатые кокошники горожанок! А крашеные ярко-рыжие, черевчатые, зеленые, голубые, желтые полушубки и шубы из узорных, шитых шелками и цветною шерстью овчин! А пронзительные расписные свистульки! А горы глиняной посуды! А бухарские ковры, разостланные на снегу! А конский торг! А качели! А какие долгие и красивые песни поют, раскачиваясь на доске, девушки! А как вызванивают московские колокола! А княжеская стража в начищенном до серебряного блеска оружии! А бойкие рожи молодцов, а маковым цветом пылающие щеки красавиц, а шутки, а смех! А скоморошьи игрища на льду Москвы-реки!

Иван Вельяминов, замешавшись в толпу охочих молодцов, уже трижды сходился грудь с грудью с посадскими и уже троих бросил на снег, пока какой-то кузнец не принял его в медвежьи объятия и в свою очередь не швырнул под необидный хохот в сугроб. Боярин сам хохотал, отряхиваясь, выбирая снег из волос. Ему подали слетевшую с него бобровую шапку, хлопали по плечам.

— Не горюй, тысяцкой! Коли такие молодцы есь, ничо еще не потеряно на Москве!

На свадьбе у Владимира Андреича он все-таки был посаженным тысяцким, честь немалая, но в терем князя Дмитрия его теперь не зовут вовсе, и, пожалуй, батюшка прав! Не стоило так небрежничать с мальчишкой Дмитрием... Дак ноне и исправить того нéкак! Он отмахнул головой, сбрасывая с себя смурые мысли. Праздник! Надобно при народе быть радостным и ему!

Ивана Вельяминова тут же вновь окружили посадские, затормошили, повлекли за собою куда-то к иной потехе. Москва гуляла, не желая ведать грядущих бед и трудов.

Глава 38

Алексий на Святках устроил себе нечто вроде отдыха. Отложив на время господарские заботы, целиком погрузился в дела любимого детища своего — московской митрополичьей книжарни, откуда уже разошлись по Руси многие тысячи переписанных и переведенных с греческого владычными писцами книг.

Там на улице — разгульное веселье ликующей толпы, отложившей на время заботы как прошлого, так и грядущего дня. Здесь — непрерываемый, благолепный, сосредоточенный труд. Книги. Тишина. Скрипят перья. Пахнет старинною кожей и редькой, да еще постным маслом, коим писцы мажут волосы. Склоненные кудлатые и гладкие, темно- и светло-кудрявые, кое-где и

лысые головы. До прихода Алексия о чем-то спорили, даже хохотали, теперь в книжарне сугубая, монастырская тишина.

Алексий проходит по рядам, глядит работу. Тут зримо становит, как возникают книги: как складывают листы, графят острым писалом, как пишут, как прошивают тетради, как переплетают их в обтянутые кожею «доски» с застежками-жуковиньями.

Алексий отворяет следующую дверь. Тут узорят рукописи, пахнет клеем и разведенной на яйце краскою. И народ здесь иной, более буйный и нравный. Изограф, к коему подходит Алексий, сейчас, намазав клеем сияние над головою святого, накладывает, задерживая дыхание, крохотный кусочек золота, прижимает его утюжком, держит, разглаживает костью, потом, поглядывая искоса на владыку, начинает крохотным веничком очищать лишние закраинки, сметая золотую пыль в кипарисовый ящичек.

Алексий, не высказав ни похвалы, ни осуждения, тихо проходит далее. Отворяет вторую, маленькую дверь, втискивается в узкий проход с крутою полутемною лестницей, ведущей наверх. По ней ходит токмо он да еще избранные им немногие клирики: Аввакум, Леонтий, Прохор, спасский архимандрит. Но сейчас ему нужен только Леонтий, ибо Алексий ожидает в гости Сергия, его ежегодного, всегда об эту пору, пришествия на Москву. И, по слухам, Сергий уже в Симонове, у сыновца своего, Федора.

Сергий действительно был там. Проделав нынче путь из Троицы за два дня, он сидел в келье племянника и тихо радовался. Стучали топоры, монахи-плотники что-то продолжали строить, довершать. Федор хвалился изографами, переписчиками книг. Повестил, что изучает греческий, дабы не токмо читать, но и свободно говорить на нем. Развернулся, хозяином стал!

Посланцы владыки не заставили себя долго ждать. Сергий, облобызав, распростился с Федором, коего и доднесь ощущал, по сладкому стеснению в сердце, словно бы сыном своим, и вскоре последовал вослед посланным к недальним башням Кремника.

Его нынче все чаще узнавали в улицах, падали в ноги. Он легко и терпеливо осенял горожан крестным знамением. Посторонился, прижмурясь, когда мимо вихрем, с гиканьем и свистом, взметая снежную пыль, пронеслись богато разубранные сани. Его посох, торба, грубый вотол и лапти — одежда простого странника, даже нищего, не давали виду угадать издали, кто идет. Но вот те же сани, круто заворотивши, уже мчатся вослед, осаживают в опор, и хмельной красавец в распахнутой бобровой шубе, забежав и срывая шапку с головы, рушит перед ним в снег:

— Прости, батюшко! Хмелен! Не признал враз! — И низко склоняет голову, а Сергий благословляет его, слегка прикусив губу, дабы не улыбнуться.

Алексий ждал Сергия с плохо скрываемым нетерпением, и Сергий, с обычной своей проницательностью, понял, что дело в безмерной усталости митрополита и в безмерном одиночестве, охватившем его после измены патриарха Филофея.

Сергий осторожно, дабы Алексий мог отступить, ежели передумал или что-то изменилось за протекшие дни в мнении Дмитрия, повестил о дошедшем до него желании великого князя воротить Стефана.

— Это и мое желание! — быстро, едва дав ему домолвить, возразил Алексий.

— Владыке должно быть известно, почему Стефан покинул обитель! Бояре, владельцы земли, зело огорчились на игумена, сотворялись безлепые ссоры, пакости монастырю...

И вновь Алексий не дал договорить Сергию:

— С владельцами земель я уже говорил, и великий князь согласен дать им отступное, но просит, дабы Стефан непременно воротился назад!

Сергий не стал больше возражать, коротко кивнул головою.

У Сергия нынче были необычайные глаза. Взгляд стал таким, как в далекие прежние годы. («Отче! Почему у тебя юные глаза?!» — хотелось спросить Алексию.) Алексий, однако, вопросил осторожнее: не совершилось ли чего-либо необычайного в киновии или с самим радонежским игуменом?

Сергий нынче, чего с ним не случалось никогда ранее, оказался невнимателен. Он едва не признался Алексию в том, что ему воистину было видение: видение света.

Он стоял на ночном правиле, одержимый скорбью, и уже в полудреме услышал, как его дважды окликнули: «Сергий!» Отодвинув окошко, узрел, что все вокруг было залито ярким светом, ярче солнечного.

— Гляди! — продолжал голос.— Все это иноки твои!

Сергий, как был, без шапки и армяка, выбежал на мороз. Праздничное сияние покрывало каждую хвоинку трепещущим пламенем. Лес был весь словно в сверкающем серебре, и в этом сиянии кружились птицы, множество птиц, переливающихся разными цветами, точно самоцветы, кто с долгими, словно струящийся шелк, хвостами, кто с хохолками из золотых, увенчанных яхонтами тычинок, иные с рубиновыми клювами или красными лапками. Птицы сидели на деревьях и огороже, порхали в воздухе, словно бабочки. Являлись все новые откуда-то из-за ограды монастыря. Птицы кружились, и ему становилось внятно (где-то изнутри росла ясная, светлая уверенность в том), что этот радостный хоровод — его ученики, настоящие и грядущие подвижники, устроители обителей, и что молитва его услышана и ему дано утешение от Господа именно таким вот горним знамением.

— Симон! — закричал он, желая иметь свидетеля (кто-то должен был видеть это вместе с ним!), подбежал, увязая в снегу, к соседней келье, стучал, звал. Но старик Симон по дряхлости долго копошился, не отворял, а птицы все реяли, реяли со щебетом, подобным журчанию, у него над самою головою!

Но вот свет стал меркнуть, меркнуть, и вылезший наконец на крыльцо Симон узрел только гаснущий отблеск, цветные трепещущие полосы, исчезающие во тьме, и не понял бы ничего, не расскажи ему сам Сергий о своем видении. (Как давеча когда-то, при явлении Богоматери, ему и ныне требовался соучастник, свидетель истины, дабы не пасть жертвою вражеской прелести, а паче того — гордыни, чего Сергий позволить себе вовсе не мог.)

А теперь он сидел пред Алексием, полный внутрен-

ней радости, и не ведал, баять ли? Едва не сорвалось: рассказать все и Алексию. Но что-то неведомое замкнуло уста. Видение было ему одному, даже Симон не узрел птиц, знаменующих умножившихся учеников и продолжателей его дела. И нелепо было рассказывать о том даже Алексию. Или же он, Сергий, не верит горнему знамению? Он смотрел сияющим взором на Алексия, кивал головою и молчал. Только повторил рассеянно, что воротит Степана... (Русичи все, и Сергий не был исключением, с трудом выговаривали греческий звук «ф», меняя его, где можно, на «п». Так и появлялись на Руси Степан вместо Стефана, Пилип вместо Филиппа, Опанас вместо Офоноса или Афанасия, Осип вместо Иосифа...)

Он сидел, слушал и ему по-прежнему окружающий мир казался таким же ярким, значительным и сверкающим, как когда-то в юности... Нет, не следовало говорить о том Алексию и никому иному! Знак был ему, дабы укрепить его в вере и в деянии. Ибо не походы воевод, не сражения, не кровь и пожары городов, а медлительная духовная работа сотен и тысяч подвижников и учителей сотворяет нацию.

Так река, широко катящая воды свои, хоть и несет на себе корабли, хоть и славится причудливою красотою, а густые дубравы и красные боры на ее брегах питает совсем не она, а незаметное глазу просачиванье воды сквозь почву.

Такими вот незримыми ручейками, не текущими даже, а сочащимися сквозь толщу народной жизни, были общежительные монастыри, которые неутомимые выученики Сергия и Дионисия Нижегородского распространяли по всей стране, продвигали на Север, и там, где основывались они, являлись не только знак креста и устное слово пастыря, но и училища, и законы, и правила жизни, там укреплялась народная нравственность и умерялось животное в человеке. Было куда отдавать детей учиться грамоте, было кому поклониться, с кем хоронить, с кем крестить детей, у кого судиться, у кого перенимать опыт хозяйствования.

С течением времени жалкие кельи, земляные норы, дупла, почти берлоги, в коих жили первые основатели, превращались в хорошо укрепленные крепости, опираясь на которые, страна устояла в грозную пору польского нашествия. И в них же, в этих общежительных обителях, в монастырских книжарнях, сохранялась культура, велись летописи, изучали медицину, языки, переводили с греческого, писали иконы, пряли и ткали, чеканили, золотили и жгли.

Все это будет. Всему этому придет (и уже наступает!) свой срок. Незримые ручейки духовной работы пропитывают почву русского народа, дают ей творческое начало жизни. Это грибница, выкидывающая на поверхность, к свету дня, словно грозди тугих, прохладно-упругих грибов, главы храмов, дивную архитектуру монастырей — ни на что не похожие, сказочные творения безвестных и гениальных зодчих, которым когда-то поклонится весь мир. Но все это вырастет на глубоко запрятанной грибнице духовного подвига, а когда начнет портиться, усыхать сама грибница, начнут угасать и храмы, опускаться, делаясь приземистыми и тяжелыми, купола, дотоле свечами пламени взлетавшие к выси горней; будут обмирщаться и темнеть иконные лики, запутываться в сложном плетении словес и сплошной риторике «Жития»... Но это будет не скоро и уже — на склоне народной жизни, а пока еще только рождается пламя, пока купола — лишь шеломы, гордые воинской (и только!) славою, едва-едва начавшие утолщаться, как бы расти и круглиться в аэре. Еще только является духовное пламя над русской землей!

Еще не написана «Троица», хотя тот, кто вдохновит художника, сидит сейчас в митрополичьих покоях на Москве, обещает вернуть Стефана, думает, кивает головою, и в глазах у него все не меркнет неземной слепительный свет давешнего видения.

— Не вопрошай меня ни о чем, отче! — просит он.— Господь замкнул мне уста. Но я могу поделиться с тобою радостью, ибо это и твоя радость. Мне дано было нынче понять, что труд наш, и твой и мой, угоден Господу!

Глава 39

Послание, отправленное в Константинополь Филофею Коккину, Ольгерд писал в ярости. Ярость утихла за прошедшие месяцы. Прошлогодний разгром на Рудаве, когда литовское войско потеряло до тысячи людей и в беспорядке отступило с земель Ордена, заставил его поторопиться с заключением «вечного мира» с московским великим князем. Впрочем, рыцарям бой на Рудаве обошелся тоже недешево: были убиты маршал ордена Геннинг фон Шиндекопф и три командора, почему рыцари и не решились преследовать отступавших литвинов.

...Все-таки истинным героем борьбы с Орденом был Кейстут, а не он! Это следовало признать и не ссориться с братом. А из Константинополя, от патриарха, прибывает нынче посол, Киприан Цамблак, болгарин, и Ольгерд заранее гневно сводит брови: пусть патриарх не тщится мирить его с Алексием! Литве и еще не захваченным, но союзным с нею русским княжествам надобен свой митрополит, и он добьется сего, как добился польский король, не просьбами, так угрозою перейти в католическую веру!

Ольгерд нарочно, дабы не присутствовать на Крещении и не наблюдать пышные шествия христиан, уехал среди зимы в Медники, в свой замок, где жил обыкновенно только летом.

Рано утром, поев холодной дичины с хлебом и выпив корец парного молока, Ольгерд отправился на охоту. Лес в инее, бронзовая листва дубов и зеленая хвоя сосен под шапками иглисто мерцающего снега, в чистом воздухе особенно громкий зов охотничьих рогов — все это, как и бешеная скачка коней, как и снежные облака, как и снег за шиворотом и заключительная борьба на вспаханной до земи целине с ощетиненным, злобно хрюкающим серым зверем, которому только повисшие на ушах хорты не давали подняться с земли и пропороть князя насквозь, и блеск стали, и кровь, съедающая снежное крошево,— все это развлекло, по-доброму утомило, развеселило и успокоило князя. Затравили двух вепрей и одну косулю. Ольгерд шагом, опустив поводья, ехал домой и уже издали узрел чужие сани. Так и есть, прикатили!

Греков было двое. Они терпеливо дожидались, пока князь умоется и переоденет платье. Затем, благословивши трапезу, чинно сидели за столом, не выказывая смущения тем, что сидят с холопами и дружиной (впрочем, сам князь помещался во главе стола), и уже только в конце ужина сдержанно попросили об аудиенции.

Ольгерд, вздумавший было потомить греков, тут нежданно для себя порешил принять их нынче же, для чего переоделся в голубой, отделанный жемчугом зипун с золотым, в каменьях, поясом и уселся в резное немецкое кресло, предложив послам места прямь себя, на лавке. Греки витиевато, впрочем на понятном русском языке, приветствовали князя.

Ольгерд принял свой обычный вид: каменное лицо, серо-голубые большие глаза изучающе озирают собеседника, рот твердо сжат, ни улыбки, ни гнева. Грек, вернее болгарин, Киприан, черноглазый, удивительно спокойный, в столь аккуратно расчесанной бороде, что она порою казалась вырезанною из дерева, тоже, по-видимому, изучал князя. У него было бесстрастное лицо, на коем порою являлось, тотчас исчезая вновь, отдаленное подобие улыбки, и это было единственное, что можно было узреть. Второй грек был понятнее и яснее. Он волновался, впадал в многословие. Когда Ольгерд железным голосом начал выговаривать свои претензии к митрополиту и к Константинопольской патриархии, даже затрепетал, вспотел и начал сбивчиво и пространно изъяснять неправоту князя. Киприан же, чуть улыбнувшись и очень внимательно, глубоко-глубоко поглядев в очи Ольгерду, выговорил:

— Царство Божие вне нас, и земная жизнь есть лишь подготовка к той, вечной, жизни! Иерархи церковные такожде смертны и такожде могут быть замещаемы иными, удобнейшими, как и земные волостители!

Ольгерд вздрогнул. Второй патриарший посланец, видимо, не понял сказанного и начал вновь и опять оправдывать митрополита. Но Киприан выразительным движением бровей молча выказал князю, что тот не ошибся, угадал правильно, и что от патриархии зависит, будет ли дольше сидеть Алексий на престоле митрополитов всея Руси. Сраженный этою новой для себя мыслью (со времен Романа он уже не считал возможным заменить своего врага Алексия кем-то другим), Ольгерд не высказал грекам и половины своих упреков, достаточно мирно закончив словесную прю и даже разрешив Киприану объехать подвластные великому князю литовскому епископии.

А Киприан, когда посольство расположилось на ночлег и его сопутник уже уснул, лежал и думал, что для успешного совершения своей миссии он должен прежде всего и непременно избавиться от патриаршего соглядатая и под любым предлогом удалить сопутствующего себе, отослав его назад в Константинополь.

Глава 40

О князе Михаиле, пребывавшем в эту пору в Литве (он гостил в Троках, у Кейстута), послы Филофея Коккина не упомянули вовсе, и Ольгерд тоже не упоминал, тем паче еще и сам не решив, что ему делать с тверским шурином. Однако тонкий намек болгарина можно было истолковать и в том смысле, что патриархия впредь не станет поддерживать Алексиевы прещения, тем самым, вольно или невольно, помогая союзникам справиться с упрямою Москвой.

В ближайшие дни Киприан сумел побывать и в Троках. Встретился с князем Михайлой, обещавши со временем приехать во Тверь. Он как-то умел у каждого, с кем разговаривал, оставлять впечатление, что он, Киприан, явный или тайный друг своему собеседнику и намерен поддерживать впредь именно его интересы. Такое же чувство возбудил он и у Михайлы, ободренного в своей пре с Алексием перед патриархией.

Впрочем, Филофей Коккин, не вовсе утративший давней любви к Алексию, почуяв, видимо, что Киприан очень уж круто повел дело, последующими грамотами заставил обоих, Алексия и Михаила, помириться и отказаться от суда, «зане будет тяжек» тому и другому.

Михайло на сей раз сумел близко сойтись с Кейстутом. Страстность, присущая обоим, соединила литовского и русского князей, невзирая на разноту верований и возраста.

Ольгерд ехал в Трокайский замок по приглашению Кейстута, нимало не обманываясь, что исходит оно от князя Михаила Тверского. До сих пор Ольгерду нечего было сказать своему шурину. Не мог же он повестить ему, что сильное русское государство во главе с Тверью его так же не устраивает, как и под водительством московского князя! Что же изменилось теперь? Явился Киприан, и пришли вести из Орды. Шурин вновь потерял великое княжение владимирское. Ольгерд еще не решил, что он сделает, поможет Михайле или нет, но он ехал в Троки, ехал впервые на переговоры с шурином.

К Трокам подъезжали в сумерках. Озеро замерзло и белым ковром окружало темные башни Трокайской крепости. На башне пылала смоляная бочка, у ворот — воткнутые в железные кольца факелы. Подъемный мост был опущен, и почетная стража, верхами, выстроилась у въезда. Их ждали.

В сводчатой столовой палате пылал огонь. Дружина усаживалась за столы, гремя оружием, которое оставляли тут же. Отужинавшие кмети пойдут в дозор, через два часа их сменят другие.

Михайло был бледен и необычайно суров. Он только что получил нехорошие вести из Орды. Мамай задерживал у себя его сына, Ивана. Ветер возвращался на круги своя!

После застолья с дружиной князья поднялись в верхнюю башню, куда тепло доходило снизу по нарочито устроенному русскими печными мастерами отдушнику. Круглая комната с каменными стенами, перекрытая тяжелым сводом, исключала всякое подслушиванье. Слуги ушли. Они остались втроем.

Кейстут взял на себя тяжкое начало переговоров. Повестил, что и он, и Андрей Полоцкий готовы немедленно помочь тверичам, ежели на то будет Ольгердова воля. Михайло молча, упорно глядел в пламя свечи. Все это Ольгерд уже знал, ведал, наверняка обдумал не по единому разу.

— Вечный мир...— неохотно произнес Ольгерд.

— Князь! Ты сам ведаешь, мира нет! — заговорил Михайло, по-прежнему безотрывно глядя в огонь.— Тебе дали только перемирие, и оно кончилось. Гляди! Захвачен Новосиль! Мценск, как был, так и остался в руках москвичей! Нынче разбит и прогнан рязанский князь и в Переяславле сидит угодный Москве Владимир Пронский. Ты потеряешь не только Козельск и Вязьму, ты скоро потеряешь все верховские княжества! А за ними последуют Смоленск, Брянск и Ржева, которую москвичи уже не раз отбивали у тебя. Новгород платит дань великому князю московскому. Сейчас там Владимир Андреич. Чего ты достиг? — Михайло поднял замученный взор на Ольгерда и вопросил прямо: — Чего ты достиг, опасаясь меня?!

Ольгерд угрюмо опустил взгляд. Таких слов не говорят великому князю литовскому. Михайлу извиняет только лишь потеря великокняжеского ярлыка! Кейстут поспешил исправить сказанную грубость, но, не умея говорить долго, он только кратко перечислил, кого и когда сможет повести на помощь князю Михайле.

— Мамай задерживает Ивана? — помедлив, вопросил Ольгерд, и эти первые человеческие слова литовского князя лучше всяких иных речей разрядили сгущавшееся напряжение.

— Боюсь, по наущению москвичей! — глухо ответил Михаил, в свою очередь опуская взгляд, чтобы скрыть смятение взора.

— Не убьют? — задал Ольгерд второй человеческий вопрос. Михайло поглядел на него исподлобья. Глубокие тени у глаз на исхудалом лице князя казались пугающе черными.

— Я буду драться насмерть! — ответил он.— Но у меня не хватает воинов!

— Когда ты хочешь выступить? И когда сможешь? — сказал и тотчас поправился Ольгерд.

— Хочу до страды! Лишь бы согнало снега! — ответил Михаил.

Ольгерд туманно поглядел на брата.

— Мои воины готовы! — просто ответил Кейстут.— Андрея заберем в Полоцке. Но ты должен поддержать нас!

— Я смогу выступить только в начале лета! — задумчиво возразил Ольгерд, значительно поглядев на тверского князя. О своих планах он всегда не любил говорить заранее, и Михайло понял и оценил уступку шурина. Обещаньям Ольгерда, даже таким вот, сквозь зубы сказанным, как ни странно, можно было верить всегда. Литовский великий князь часто обманывал, но никогда не лгал.

Михайло проиграл, проиграл еще тогда, в шатре Мамаевом, не решаясь на то, на что Ольгерд решился бы не моргнувши глазом. Но уже на мог остановиться, не имел сил. И вот — начинал третью безнадежную войну с Москвою, третью литовщину.

— Почему ты не помог ему раньше, еще тогда? — вопросил Кейстут, когда братья остались одни.

— Тогда князь Михаил был великим князем владимирским! — значительно ответил Ольгерд, присовокупив, дабы избежать дальнейших вопросов.

И только ночью, оставшись один, отпустив постельничего и затушив свечу, Ольгерд, укладывая поудобнее на мягких шкурах свое большое тело, произнес вполголоса в темноту, ведая, что его не услышит никто из смертных, даже родной брат:

— Я не хочу помогать, Кейстут, никакому — слышишь ты? — никакому великому русскому князю! Я хочу, чтобы и Тверь и все земли Московии отошли к Литве! Я буду драться только за это, Кейстут! И пусть наши с тобою дети доделают то, чего не сумели доделать их отцы!

В богов Ольгерд не верил. Он верил в земное свое продолжение и обманывался, как почти все любящие отцы.

Глава 41

Их подняли ночью, в сумерках, под зеленым передрассветным небом. Оседлали коней. По улицам спящей Твери молча, сплошным потоком, шла кованая конная рать.

Онисим, как и многие, ждал, что их погонят берегом Волги, но полки извивающейся змеею уходили в леса, и к полудню стало понятно, что идут на Дмитров. По наведенным через лед мостам (реку загатили хворостом, сверху уложили двойной жердевой настил) миновали Шошу. Ночевали в поле, возле Клина. Горели костры. Нарубив и набросав лапнику, постелив попоны, ратники дремали у огня. Коней не расседлывали. Это была уже война, хотя и не в виду неприятеля.

Снег дотаивал в чащобах. Дорога, почти освобожденная от него — держались только наледеневшие следы полозьев,— казалась впереди полка нетронуто-чистой, словно завороженной лесовиком. Копыта то ударяли в твердое, то чавкали. Но назади конницы тянулись уже избитые, перемешанные с землею и льдом лужи, и задние ратники, ступая в это крошево, морщились от летевшей в лицо из-под кованых копыт грязи. Весенний лес полнился настойчивым шорохом и гудом: по всем лесным дорогам шла конница.

К Дмитрову подходили, огибая ощетиненные лесом холмы. Когда Онькин полк завидел бревенчатый тын и башни города, там уже шел бой, летели стрелы, вспыхивало кое-где пламя и метались среди хором разоренного посада жители, которых ловили арканами тверские ратники. Зорить уже, почитай, и нечего было.

Дмитров сдался после отчаянного трехчасового сопротивления, и Онька въезжал в город, так и не обнаживши меча. Вослед прочим кинулся в торговые ряды, хватал, вырывая у других, какую-то зендянь, платки, пихал себе в торбу. Поимел доброе ужище, сапоги из крашеной кожи. В улице, куда выбрался вскоре, опасаясь за коня, стоял плач, вой, ор; по грязи вели боярина с завернутыми назади руками с подбитою скулой; ратники древками копий выгоняли из домов посадских. Онька взгромоздился на коня, с трудом выбрался из толпы плачущих и матерящихся полоняников, начал было имать корову, что совалась, потеряв хозяина, но на корову кинулось сразу несколько ратных, и Онька отстал, махнувши рукой. Своего

боярина Онисим нашел лишь к вечеру. Тот оглядел Оньку придирчивым взором:

— Поводной конь где? — вопросил.

— Нету. Думал из добычи взять! — степенно отмолвил Онька. Боярин пожевал губами, подумал.

— Там на двори выбирай, какой тебе поглянетси, а опосле поскачешь в Переслав!

Онька кивнул обрадованно. На дворе было целое стадо захваченных лошадей, и он растерялся было. Но скоро крестьянская сметка взяла свое. Отодвинув ратника, что сторожил коней («Боярский указ, дак не замай!»), вывел широкогрудого невысокого конька, пощупал бабки, охлопал, огладил по морде. Конь недоверчиво нюхал Онькины руки. Онька достал краюху хлеба, угостил коня. Накинул узду, из сваленной прямо на земи кучи достал седло со стременами, попону. Скоро конь — свой! — шел за ним на аркане, и Онька, разом почуяв себя значительнее, потрусил туда, куда ему было указано прежде боярином. Там и тут подымался дым. Грабеж продолжался, но это уже мало интересовало Оньку.

Дружина, в которую назначили Онисима, выехала назавтра, в ночь. К Переяславлю ушли литовские полки Кейстута и Андрея Полоцкого и немного дней спустя того, как Михайло взял Дмитров, явились под стенами Горицкого монастыря.

Вески были разграблены дочиста. Конная рать обходила город, предавая разору и огню пригороды. Посланный в Клещино Онисим видел, как свечами пылали церкви Никитского монастыря, как литвины гнали полон — баб с детьми, повязанных арканами мужиков. Коров, овец кололи копьями, и их трупы лежали там и тут на раскисшей земле.

Поскакали к Переяславлю, где уже догорали посады и у Юрьевских ворот выехавшие наружу московские воеводы толковали с литовскими боярами, предлагая им окуп с города.

Назавтра ополнившиеся литовские рати, получив отступное серебро, потянулись долгой змеею вдоль берега Клещина-озера к Семину. На устье волжской Нерли была назначена встреча с полками тверского князя, о чем и должен был повестить Кейстуту с Андреем Полоцким боярин Онькиной дружины.

Кейстута, высокого, хищно-худого, на рослом коне, с которым он был словно бы слит в одно целое конечеловечье существо, наподобие сказочного Китоврасa, Онька увидал только издали. Литовская рать шла ровною стремительною рысью, и столпившиеся набранные из деревень тверские ратники с завистью смотрели на щегольскую посадку всадников и легкий, наступчивый ход литовских коней.

Глава 42

По Волге плыли, ныряя в волнах, белые льдины. Кони подступали к берегу, осторожно обмакивая копыта в ледяную воду и, фыркая, пятились назад. Скопившиеся рати (полки все прибывали и прибывали — и от Переяславля и от Дмитрова) заполонили весь берег. Уже стучали топоры, ратники рубили плоты. К челнам, забранным в Кснятине, привязывали вдоль бортов вязанки сухого хвороста. Михаил велел во что бы то ни стало переправляться через реку нынче же.

Онька, скинув зипун и засуча рукава рубахи, махал топором. Плоты срабатывали на совесть. В едакую пору искупаться что утонуть! По-татарски подделывали хворостяные подушки под возы, чтобы гнать их плывом на ту сторону. Всех полоняников поставили к делу — валить лес. Князь Михайло на тонконогом стремительном жеребце измерял по берегу, голодными острыми глазами измерял водный рубеж, громаду синей ледяной воды, за которой в перелесках и лугах притаился обреченный его неистовству Кашин. Наконец армада плотов, челнов, связок, колеблясь и крутясь в водоворотах, отплыла от берега. Плоты сносило течением, стукало друг о друга. Кого-то опружило, несколько человек утонуло, свалившись с плотов, но все-таки рать перебралась и даже перетащила полон. Мокрые, взъерошенные кони и люди выбирались на берег, отфыркиваясь, со страхом оглядываясь назад, где еще боролись со стихией останние плоты и челны, проносимые стремительным течением мимо спасительного берега, а льдины, крутясь и шипя, ударялись в них, мешая пристать.

Блестели секиры. Ратники яростно разрушали плоты, выкладывая и поджигая огромные костры, дабы просушить одежду и сбрую.

— Снедного припаса осталось на один день! — сказал Кейстут.

— Успеем! — ответил Михаил.— Теперь успеем... В Кашине добудем себе корм! — Он оглянул берег весенними, поголубевшими яростными глазами, тронул коня. Кейстут с Андреем послушно поскакали сзади.

Положив между собою и возможной московской погонею Волгу, Михайло всеми соединенными силами подступил к Кашину. Михаил Васильевич Кашинский уже не рад был, что, поддавшись уговорам, задался за москвичей. Торопясь избавить волость от разору и грабежа, он сам выехал из города навстречу Михайле и приказал везти корм литовско-тверскому войску: овес и сено, хлеб, рыбу, мясо, масло, сыры и прочую снедь ратникам. Заплатил тяжкую дань серебром и вновь задался в волю Михаила Тверского, подрав московскую грамоту.

Уходила литва двумя путями. Кейстут от Кашина двинулся на Новоторжскую волость. Андрей Полоцкий шел мимо Твери. Дорогою литвины пакостили, грабили деревни, уводили скот и полон.

Онисим, воротясь домой, узнал, что проходящая литва разорила Загорье. В ихнюю деревню союзники, к счастью, не добрались. Он всю дорогу страшился разору, пока не увидал непорушенные кровли и своих на дворе. Тогда отлегло от сердца. Опустив поводья, Онисим шагом подъезжал к дому. Вот Федя выбежал встречу, девки высыпали на крыльцо. Вышла, всплеснувши руками, Таньша. Он тяжело слез, кинул поводья сыну, примолвил: «Поводи!» Сказал, обнимая уткнувшуюся ему в грудь супружницу:

— Ну, здравствуй, мать!

Глава 43

У Мефодия, Сергиева ученика, что поселился на Песноше, невдали от Дмитрова, на Фоминой неделе тверские ратные сожгли монастырь. Жечь там, собственно, как и грабить, было нечего. Крохотная часовенка, которую, в подражание учителю, Мефодий срубил сам, да келья с деревенскую баню величиной — вот и все хоромное строение. Правда, осенью к Мефодию подселились два брата-инока и срубили себе вторую келью, более просторную, разделенную на две половины: поварню, с черною глинобитною печью, и молельню, холодную, зато чистую горницу, где братья поместили принесенную с собою икону святителя Николая новгородского письма и крохотный, в ладонь, образ Богоматери.

«Что там было жечь и зачем? — думал Сергий, вышагивая по мягкой от весенней влаги дороге.— Не наозоровал ли местный боярин в страхе за свои угодья, чая свалить пакость на тверичей?» Он устремился в путь, по обычаю никому и ничего не сказав, только захватив с собою мешочек сухарей, несколько сушеных рыбин и хорошо наточенный плотницкий топор. Мефодию следовало помочь. Будут и еще разорения и поджоги, но днесь, сейчас,— Сергий чувствовал это душою,— Мефодий был в обстоянии и нуждался в дружеском одобрении учителя.

Всюду пахали. Светило солнце, орали грачи, и худые, измученные голодною зимой мужики почти бегом, погоняя таких же худых, спавших с тела лошадей, рыхлили землю. На него взглядывали бегло, без любопытства. Бродячий монах, да еще в лаптях и с топором за поясом, был такою же привычной картиною, как и погорельцы, согнанные со своих мест войной и бредущие с детьми и голодными собаками в поисках хлеба. У иного из мужиков на насупленном лице так и было написано в ответ на не заданную еще просьбу о милостыне ответить угрюмо: «Бог подаст!» Но Сергий милостыни не просил и не останавливал разгонистого дорожного хода. За спиною у него болтались на веревочке сменные лапти, вода была во всех ручьях, а он, присевши на удобную корягу, сосал сухарь, запивая понемногу студеной водой, иногда грыз сухой рыбий хвост, подымался и шествовал дальше.

Один лишь раз, завидя, как пахарь, осатанев, бьет по морде ни в чем не повинную животину, запутавшуюся в упряжи, подошел, молча и властно отстранил мужика (тот поднял было кнут стегануть монаха, но поперхнулся, увидя взгляд Сергия, и, невольно крестясь, отступил посторонь). Сергий успокоил и распутал брыкавшуюся лошадь, поднял ее на ноги, живо разобрался со сбруей, и пока кляча, дрожа всею кожей и расставя трясущиеся ноги, шумно дышала, отходя от давешнего ужаса, он связал порванную шлею хорошим двойным узлом, передвинул погоднее ременные петли на обрудях и, утвердив рогатую соху в борозде, строго и спокойно сказал мужику:

— Никогда не бей того, кто тебя кормит!

Он умело прошел один загон, что-то пошептав лошади такое, что она, тотчас и радостно вильнув хвостом, пошла, натужно и старательно упираясь копытами в еще вязкую землю, красиво повернул, обтерев о землю прилипшую к сошнику грязь, и, вновь приблизив к пахарю, вручил тому рукоять сохи, примолвив:

— И к труду всегда приступай с молитвою, внял?!

Пахарь совсем оробел и, неуверенно принимая из рук Сергия отполированный мужицкими мозолями рогач, поклонил, косноязычно выговаривая отвычными от иных, кроме ругани, слов устами что-то вроде: «Спаси тя Господин Христос»,— перепутав с молитвою господское, боярское обращение. Сергий уже выбирался с поля. Не взглянувши назад, он обтер лапти о сухую прошлогоднюю траву, принял посох, воткнутый им в землю на краю поля, и так же неспешно, но споро устремил далее. Мужик, прокашлявшись, отверз было мохнатые уста, чтобы изречь матюк, но поперхнулся, вымолвив вместо того непривычное для себя: «Ну, ты! Со Христом Богом!» И конь пошел, пошел, на диво старательно и ровно, не выдергивая сошников из борозды.

Где-то уже близ Дмитрова (тут беженцы текли по всем дорогам, кто уходя на Москву, кто возвращаясь к разоренным пенатам) Сергий заметил шевеление в кустах и услышал натужные стоны. Навстречу ему выбежал мальчик в огромной шапке, валящейся ему на глаза:

— Дедушко, дедушко! Помоги! Мамка телится!

Сергий, не улыбнувшись, зашел за кусты, сбросил мешок с плеч. Быстро и споро устроив все потребное — у бабы уже отошли воды и начинала показываться головка,— он положил роженицу погоднее, завернув подол, молча, не морщась, принял дитятю, обтер ветошкой (мальчонка, опомнившись, помогал довольно толково), дождал, пока выйдет послед, обмыл бабу, перевязал пуповину и тут же (у него с собою всегда была крохотная посудинка с миром) помазал и окрестил младенца — во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

Вымытый и завернутый малыш перестал орать и только помавал головенкою, ища сосок. Опроставшаяся баба, застенчиво взглядывая на старца, расстегнула рубаху и сунула малышу набухшую коричневую грудь.

Сергий кончал мыть руки и платье. Строго, дабы не смущать бабу, расспросил ее (хозяина и старшую дочерь у нее свели литвины), дав отдохнуть, проводил роженицу с сынами до ближайшей деревни, устроил на ночлег, а потом велел добираться до владычной Селецкой волости, где находился странноприимный дом и можно было перебыть первые, самые трудные месяцы, нанявшись хотя бы в портомойницы, ежели ее мужика к той поре не воротят из Литвы по перемирной грамоте.

Уже распростясь, уже вновь выйдя на дорогу, он вдруг улыбнулся сам себе, помыслив, что ныне совершил для безвестной бабы то, чего, как высочайшей награды, добиваются от него видные бояре московские и даже сам князь, и что малыш сей вряд ли когда узнает, что его восприемником был знаменитый радонежский игумен.

Пахло́ весной, мокрой хвоей. Повсюду густо лезли из земли подснежники, и солнце, снизившись, почти цепляя за игольчатые вершины дальнего леса, золотило ему лицо.

Речка, раздувшаяся по весне, весело урчала, ворочая коряги и колодины. Прибрежные кусты стояли по колено в воде. Сергий долго искал переправу. Наконец, ловко пройдя по поваленному дереву и замочив лишь лапти, выбрался на тот берег.

Пустыньки не было. На месте часовни и келий валялись головни да высило несколько обугленных, сваленных друг на друга бревен. Он осмотрелся по сторонам, вынул топор, постучал обухом по дереву, будя лесное дремучее эхо, втянув носом, пошел на запах дыма.

Братья-иноки, завидя Сергия, встали и растерянно поклонили ему, не ведая, кто перед ними, но по незаметным для невегласа приметам угадав, что путник — не простой мних, но муж в высоком сане. А когда Сергий, не называя себя, вопросил о Мефодии, почти уже и догадали, с кем говорят.

Часовня для спасенных икон была устроена братьями в дупле дерева. Для себя они соорудили шалаш из лапника и хвороста, куда заползать надо было ползком. Хлеба у братьев не было, питались толченою корой, кислицей и прошлогоднею клюквой, а Мефодий, сообщили они, ушел в Москву за подаянием. Сергий дал братьям по сухарю и одну рыбину на двоих, сам отведал сладкой прошлогодней клюквы и, сотворив молитву, залез вместе с братьями в шалаш. С утра принялись за работу.

У братьев нашелся еще один топор и большой ножкосарь. Сваленные дерева шкурили косарем, ворочали вагами. Сергий работал не тратя лишних слов и остановил помолиться и пожевать хлеба только в полдень. Оба брата были толковые, дельные мужики. Сергий после дня работы с ними молча одобрил выбор Мефодия. Келью рубили в укромности и ближе к воде, как указал Сергий. Часовню, как он же объяснил братьям, надобно было поставить подалее, бережась от огня. В первый день повалили сорок дерев и устроили катки. К тому часу, когда воротился Мефодий, притащивший с собою два мешка аржаных сухарей, несколько сыров, мешок сушеной рыбы и горсти четыре изюму — почти насильный дар кого-то из сурожских гостей (ему дали коня и провожатого довезти даренья до места), келья стояла доведенная почти до потеряй-угла, ладно и красовито срубленная, опрятно промшенная, хоть и из сырого лесу, а Сергий вырубал курицы и переводы для будущей кровли.

Они троекратно расцеловались с Мефодием. Снедное пришлось-таки кстати, сухари и рыба у них давно уже кончились, а собирать клюкву на дальнем болоте было недосуг. Серебро же Сергий велел убрать в кожаный кошель и больше не разговаривал о том, пока не окончили келью и не надели охлупень на крышу. Вчетвером — это было как раз необходимое число тружающих для всякой плотницкой работы — дело пошло много резвее. Поставивши келью, заложили основание для новой часовни, и тут Сергий, постигнув, что работа теперь будет доведена до конца, повестил Мефодию, что уходит и надеется, что тот ныне успешно довершит устроение обители.

— А серебро, брате, отдай тому, кому оно нужнее! — сказал он на прощанье Мефодию.— В годину бедствий инок сам должен помогать тружающим!

Мефодий только тут понял вполне урок Сергия и, стыдясь, опустил голову.

— Каждый из нас слаб, ежели одинок! — задумчиво изронил Сергий.— Пото и надобен общежительный устав!

Мефодий не спросил, почто тогда учитель, начиная свой подвиг, долгое время жил в лесу в одиночестве и водил дружбу с медведем. Это было искусом, испытанием, долженствующим отделить зерно от половы. Инок обязан жить в стороне от мирской суеты, но не в стороне от мира. Впрочем, о войне, о заботах боярских и княжеских они не заговаривали вовсе. Сергий как-то умел всегда отодвигать суетное от вечного, и в его присутствии многое вроде бы важное оказывалось неважным совсем.

Глава 44

Почему Новгород в споре Михайлы Тверского с Дмитрием выступил против Твери?

Сейчас, когда читаешь взволнованный, словно бы кровью сердца написанный шесть столетий тому назад рассказ о торжокской трагедии, все равно непонятно, как такое могло произойти?

Да, конечно, Москва сумела показаться мужам новогородским более безопасным и покладистым сюзереном (но она же его и уничтожила столетье спустя!). Да, конечно, союз тверского князя с Ольгердом мог и должен был насторожить новогородцев, не чающих добра от великого князя литовского, погромом Шелони показавшего Новгороду, чего от него возможно ожидать. Да, конечно, и угроза католической экспансии привязывала Новгород к Владимирской митрополии, и тут, конечно, сказалась дальновидная политика владыки Алексия. Да, разумеется, сработали и торговые интересы Господина Великого Новгорода, которым потеря Торжка грозила всяческим ущемлением и разором, ибо сам собою перекрывался путь на Волгу, на Низ, в богатые восточные и греческие города, перекрывался тот постоянный серебряный ручей, который поил и поил северную вечевую республику, создавая резное и белокаменное чудо на Волхове, в бедном лесном и суровом краю, где только торговля, размахнувшаяся на полмира, и могла породить ту сказочную красоту, скупые остатки которой и ныне, шесть столетий спустя, поражают воображение вдумчивого путешественника...

Михаил Святой споткнулся на Новгороде, вернее на споре из-за Торжка, под которым он наголову разбил отборное новогородское войско во главе с лучшими «вятшими» мужиками Господина Великого Новагорода, так и не простившими тверскому герою этого разгрома, как и взятого тверичами на щит Торжка.

Михайло Александрович совершил то же самое и — с теми же последствиями. В грозный час осады Твери новгородская рать явилась, не умедлив, под стены города, «отмщая обиду новогородскую».

Откуда оно вообще бралось, клятое новогородское весовое серебро?

Новгород много строил и покупал много. Сукна, бархаты, оружие, датская сельдь, голландское полотно яв-

лялись в новгородском торгу не от случая к случаю, а как постоянные статьи ввоза. Для того, чтобы получать еще и серебро, вывоз Господина Великого Новагорода должен был намного превышать ввоз. Вывозил Новгород и полотно, и посуду, и кованъ, и железный товар (замки новгородской работы славились на европейских рынках), но главными статьями вывоза все-таки являлось сырье: воск, сало морского зверя (ворванъ, тюлений жир) и меха.

Государство, вывозящее сырье, разоряется. Это истина хоть и горькая, но святая. Разорение при этом происходит двоякое. Во-первых, исчезает, истощается само сырье; во-вторых, падает уровень мастерства граждан, ибо заготовка сырья обычно требует минимальных навыков, а зажиточность государств впрямую зависит от уровня квалификации труженика. По той же причине богатеет государство, ввозящее сырье. Оно не теряет национального добра, а за счет обработки и переработки ввозимого сырья рабочие навыки ее граждан непрерывно повышаются.

Почему же не разорялся, а рос и хорошел Новгород? Во-первых, потому, что имел свое крепкое ремесло. По уровню мастерства новгородские ремесленники долгое время превосходили всех прочих русичей. Во-вторых, потому, что он продавал товар, дорогой сам по себе: стоимость шитья меховой одежды смехотворна по сравнению со стоимостью мехов, так же как и изготовление свечей не намного повышало стоимость новогородского воска. (Русские воск и сало обеспечивали в ту пору главным образом нужду западноевропейских городов в освещении.) А убыль пушного зверя новгородцы до поры восполняли, захватывая все новые и новые пространства русского Севера. И тек ручей из серебра, в условиях XIV столетия, в условиях постоянной выплаты ордынской дани означавший не просто богатство — власть.

Излишне объяснять, почему князь Михайло бросил свои рати под Торжок. Он попросту не мог поступить иначе. Серебряный новогородский ручей надо было попытаться направить в тверскую казну.

Новгород никогда не спешил делиться доходами с великим князем владимирским. Черный бор (поземельную дань с волостей) давал только после ощутимых военных разгромов. Серебро, приносимое походами охочих молодцов и торговлей, Новгород предпочитал тратить на себя, одеваясь в иноземные сукна и бархаты и возводя белокаменные храмы. А за Торжок — передовой торговый пост Великого Новагорода, откуда шел по Тверце и Волге прямой, уже без сухопутных переволоков путь на нижнюю Волгу, в море Хвалынское, в легендарные земли Востока,— за Торжок у Новгорода все четыре столетия его самостоятельности шла с низовскими князьями почти непрерывная ратная пря.

А Торжок стоял, словно бы в насмешку, под самою Тверью, что делало новогородцев всегдашними врагами тверичей и великого князя тверского, почему и приглашали они к себе на стол князей черниговских, смоленских, нижегородских, московских, но никогда тверских.

В Петрово говенье новгородская конная рать явилась в Торжок. Боя не было. Тверской наместник был схвачен и выслан из города. Тверских бояр били, выволакивая из теремов. На вымолах толпа грабила тверские торговые лодьи. И все это — и всполошный перезвон колоколов, и пестрая мятущаяся толпа горожан в улицах, и вече на площади, и Александр Обакумович, герой ушкуйных походов, картинно, в черевчатом корзне с золотою запоною на плече, в шитых жемчугом цветных сапогах, яростно бросающий в толпу с возвышения гордые слова о воле и «праве во князьях» новогородской вечевой республики, и веселые конные удальцы Господина Великого Новагорода, недавно бравшие на щит Булгар и Нижний, и кипящий у вымолов торг, и грабеж, и клики — все под ярким весенним солнцем, вспыхивающим на алых нарядах горожанок, лезвиях рогатин и начищенном оружии дружин, все под вольным, пахнущим хвоей и влагою ветром, в головокружительном упоении удали, удачи и дерзости.

Тверской летописец записывал позднее в харатьях, что «люди из городов так и не почали передаватися ко князю к великому к Михаилу», несмотря ни на что: ни на ярлык Мамаев, ни на тяжкую дань, наложенную воротившимся из Орды Дмитрием...

Глава 45

Тверская рать князя Михайлы явилась под Торжок на третий день. Еще не улегся хмель удачи, еще не утихли восторги новогородского мятежа, а ряды тверской конной кованой рати и посаженного на коней крестьянского ополчения уже оступили город.

Вестоноши, под оглушительный писк дудок, помчались в сторону выстроившегося немецким клином новогородского войска. Михаил в последний раз предлагал новогородцам мир, требуя воротить награбленный товар, выдать зачинщиков мятежа и принять обратно тверского наместника. «А яз у вас не хочю ничего»,— прибавлял князь, заранее отказываясь от полагающегося условиями войны окупа с города и обещая ждать новогородского решения до полудня.

Посланцы вернулись вскоре вместе с новогородскими боярами, Усом и Глазачом, и Яков Ус, смело подъехав ко князю и усмехаясь ему в глаза, повестил, что Новгород требует мира «на всей воле новогородской», а наместника князя тверского не хочет, и братью свою не выдаст. Что же касается угроз, то еще прадеды их говорили князю владимирскому в толикой трудноте: «Паки ли твой меч, а наши головы?»

Михайло глядел, не отводя взора, в гордое, чуть заносчивое лицо новогородца. Вскипевшего было боярина Захарью удержал мановением руки. Он не испытывал зла к гордецу, замыслившему раздразнить его, князя, он не гневал, он даже любил их, новогородских удальцов, и ведал, что победит. Склоненьем шелома он отпустил новгородцев, и те, вздыбив и заворотя лошадей, вихрем понеслись назад. Развеивались, жарко пылая на солнце, их багряные корзна, сверкали отделанные серебром шеломы.

Он шагом проехал вдоль строя пешцев, внимательно вглядываясь в лица. Призванные уже не впервой

мужики были ныне, почитай, опытные воины и от натиска конной рати не побегут. Ему показалось, что в одном из ратных он узнал Онисима, но задерживаться было немочно. Конный таран новогородцев уже пошел в суступ. Михаил положил руку на рукоять дорогой сабли. «С Богом!» — сказал и, рысью проминовав последние ряды пешцев, въехал в ряды своего запасного полка.

Тверские ратники заднего ряда клали рогатины на плечи передним. Онька сам стал напереди, а сына поставил за спиною. Нынче на нем был толстый стеганый тегилей и шелом. Он крепче уперся в землю, слегка расставив ноги в лаптях — не поскользнула бы нога, тогда смерть! Сверкающий железом разноцветный новгородский полк катился прямо на них. Он выбрал красивого боярина на рослом коне и навел рогатину. Тверские лучники через головы пешцев осыпали новогородцев ливнем стрел. Кони вставали на дыбы. Онька рыкнул и с громким выдохом пырнул ратника рогатиною. Конская туша, как давний лось, обрушилась, мало не смяв его копытами. Федор, спасая отца, в свою очередь изо всей силы слепо ткнул копьем в конскую шею. Через поваленного, брыкающегося коня перелетел стремглав второй новогородец. Онька ринул и его рогатиною.

Со всех сторон, падая, но не отступая, словно на покосе сметывая стога, работали рогатинами тверичи. Хрип, мат, ржание, скрежет и лязг железа. Онька не ведал сам, как оказался рядом с сыном и Фролом Недашевым плечо в плечо. Загоряне отбивали рогатинами крутящийся в воздухе сабельный дождь, медленно отступая. Вот дернулся и сник Фрол, вот Федор, споткнувшись о мертвого, приник на колено — и у Оньки разом ухнуло сердце,— но тотчас встал и яростно ударил рогатиною всадника, вздынувшего саблю над головою отца. Потерянный удар скользом прошел по Онькиному шелому. Еще шаг, еще... Но то, чего не ведали и не зрели тверские пешцы, ведал князь, победивший в этом бою почти так же, как некогда победил новгородцев под Торжком его великий дед. На новоторжскую городовую, неважно державшуюся в седлах конницу он обрушил лучшую свою тверскую конную кованую дружину, смял, погнал и опрокинул новоторжан на новгородское боярское ополчение, почти замкнув вражеское войско в кольцо.

Он еще придерживал коня, озирая поле, еще придерживал запасный засадный полк, и только углядев, что новгородцы вывели и ввели в бой уже все свои силы, ударил сам в тыл новогородскому полку, довершая разгром.

Александра Обакумова, убитого в первом суступе, принесли на корзне и положили на землю у ног Михаилова коня. Лик новгородского воеводы был суров, отверстые очи слепо глядели в небо, и навозная блестящая муха уже копошилась хлопотливо на мертвой поверхности зрачка.

— Закройте ему глаза! — приказал Михаил и, отворотясь, поскакал в сторону города, где ратные уже поджигали окологородье, выкуривая новоторжцев с заборол.

Вал огня, пожравший пригородные хоромы, раздуваемый ветром, рванул через городовую стену, и в городе сотворился ад.

Вся стена с бревенчатыми островерхими кострами пылала как единый костер. Пылали хоромы за стеною, из отверстых ворот выкидывались, выбегали с ревом и воплями обожженные горожане. Суетилась толпа, потерявшие строй, уже неподвластные приказу тверские ратные, осатанев, рвали добро из рук горожан. На глазах Онисима какой-то ратник волок по земи жонку с растрепанными, развитыми волосами, без повойника, срывал с нее атласный саян вместе с рубахою, и та, забелев телом, страшно вскрикивая, корчилась в траве, закрывая руками стыд, а мимо бежали, волочили что-то, дрались.

Какой-то тверской боярин метался верхом, тщетно пытаясь навести порядок, а в отверстое чрево пылающих поверху ворот несло утробным ревом и гудом огня, и там, вдали, корчились, истаивая в слепительном пламени, остатние хоромы горожан.

Онька кинулся туда, внутрь, на нем тотчас зашевелилась и начала коробом вставать от огня рубаха и тлеть волосы. Отпихнув ратника, изволок какую-то жонку с дитем, вымчал, ополоумев от жара, наружу и — остоялся. В ворота уже было не взойти, подгоревшие бревна рушились, пылая, вниз, загораживая проход, а по небу, колеблемые в жарких струях, медленно летели, рдея раскаленными краями, целые куски кровель, взметывалась огненная драть, ревело пламя, и в пламени бились, звуча и погибая, колокола догорающих церквей...

Князь Михайло подскакал к вымолам. Здесь было также не пробиться от ратных, занявшихся грабежом, и сотен обожженного, ополоумевшего народу. Выбрасываясь факелами из горящих хором, комки еще живой человеческой плоти кидались в воду Тверцы, захлебывались и тонули. Отсветы пламени плясали и колебались в волнах. Кое-где тверские бояре с немногими сохранившими порядок ратными выводили из пламени трясущихся опаленных горожан. Другие продолжали грабить. И на самых глазах Михаила какая-то жонка, девица ли, без рубахи, без серег, вырванных с кровью из ушей, подбежав к вымолу, ринула вниз головою в кипящую водоворотами воду.

Михайло ударами плети остановил двоих ратных, волочивших неподъемный ларь с добром, чувствуя всею кожей свое бессилие. (Город был законною добычею войска и, кабы не огонь, не яростный ветр, раздувший пламя, заплатил бы откуп. Теперь же ратники добывали сами себе причитающуюся им мзду, действуя наперегонки с огнем, и поделать здесь хотя что-нибудь даже ему было немочно.) Он махнул рукою, и ратные вновь поволокли ларь, торопясь уйти с князевых глаз, а уже какие-то всклокоченные мужики, какие-то жонки с детьми и овцами прихлынули к нему, умоляли, протягивали руки. Иные, полураздетые ратными, конфузливо жались, стягивая на груди обрывки рубах, и всю эту жалко лепечущую толпу князь повел прочь от вымолов, сдав с рук на руки одному из своих бояр. И это было все, что он мог тут поделать...

Огонь, сожравши Торжок, утих к вечеру. Несколько черных остовов каменных церквей стояли, наполнен-

ные трупами. Кто не сгорел в них, задохся в дыму.

«В едином часе бышеть всем видети град велик, бесчисленное множество людий в нем, в том же часе пожьте его огнь и преложишеться в углие, и потом в пепел, и развея ветр, и всуе бышеть человеческое мятение, только на месте том видети земля и пепел!» — писал впоследствии инок-летописец, сам чудом избежавший огненной торжокской гибели и убежденный на все предбудущие времена, что присутствует при последних часах человечества, при закате веры и зрит окрест себя «последних людей», коим глад, и трус, и засухи, и знамения в луне и солнце глаголют о приближении Страшного Суда.

Глава 46

Наталья Федорова с сыном была в Островом. Еще ничего не знали, не ведали, через три-четыре дня собирались жать зимовую рожь; и бабы загодя готовили серпы, наголодавшись за прошлое лето, предвкушали нынешнее хлебное изобилие.

Глухой и грозный топот копыт послышался рано поутру. Наталья вышла на крыльцо. Сын еще спал, разметавшись, набегался давеча, наигрался с мальчишками в рюхи. Комонные появились из-за дальнего увала и потянулись длинною змеей, по двое в ряд. Дробный цокот копыт все рос и рос, и вот уже заполонил всё. Оглянувшись, она узрела, что почти все деревенские бабы выбежали к плетням и калиткам, а там потянулись и мужики, встревоженные, полусонные. Солнце еще не вылезло, сияющий луч его только-только вставал над лесом. В знобком утреннем холоде единственно слышен был глухой непрерывный топот. Передовые уже миновали околицу, а над дальним увалом все вставали и вставали новые и новые ощетиненные оружием ряды. Конница шла на рысях, подрагивали притороченные к седлам пучки легких копий-сулиц, топорщились колчаны, полные стрел. Один из ратных, подъехавши вплоть, попросил напиться. Наталья бегом вынесла кринку молока, берестяной ковшик. Ратник выпил, кивнул, отдавая ковшик, и на немой отчаянный вопрос женщины ответил, уже трогая коня, одним словом:

— Ольгерд!

Она глядела вослед, пока ее не окликнули снова. И снова она поила воина молоком, и опять ратник немногословно, сплевывая сквозь зубы, повторил:

— Опеть на Москву валит!

— Задержите?! — крикнула вослед, не выдержав, Наталья. Кметь повернулся к ней, улыбнувшись сурово, подмигнул, тронув рукою рукоять сабли. «Понимай сама, мать!» — привиделись ей не высказанные вслух слова.

Ванята выбежал вскоре, потерся носом о материну шею, детским, хриплым спросонь голосом вопросил:

— Война, мамо?!

— Ольгерд! — ответила она, и сын примолк, что-то трудно и долго обмысливая. После ушел в дом, и у Натальи схлынуло было с сердца, но тут Ванята явился уже в дорожной справе и сапогах, с волочащейся по земи отцовой саблею.

— Я Карего возьму! — выговорил и, когда Наталья в ужасе бросилась к сыну — не пустить, не позволить,— по-взрослому, стойно Никите, отвел ее руки, сказал, твердо глядя в глаза матери:

— Батя убит! Дядя! Братика два погинуло у нас! И все от Ольгерда!

И она отступила, поняла: удержать — не простит после вовек.

— Погоди, постой! — Кинулась собирать подорожники...

...К полудню ратники стали на дневку. Кормили и поили коней. Сзади подходили и подходили новые, деревня наполнилась ратными до краев. Узревши знакомого сына боярского,— служил в вельяминовском городовом полку,— Наталья кинулась к нему, с трудом объяснила, о чем просит, представила сына. Дружинник кивнул, сощурясь, оглядел подростка — видно, не очень хотелось брать с собою отрока, обещал доложить Микуле Василичу, когда встретит. Сын был счастлив и, когда бесконечная верхоконная змея снова тронулась в ход, весело поскакал со всеми, махнув матери на прощанье рукой. А она стояла — долго, уже давно прошли те, свои. Мимо, не прерываясь, двигались и двигались ратники, и даже ночью, когда прилегла на час, чуя, что уже не держат ноги, все длился и длился глухой бесконечный топот проходящих московских полков...

Иван вымчал на угор, к знамени. Прошедшую ночь спал он в пустой риге, набитой кметями, и все боялся, что чужие ратники сведут коня. Вставал, выходил на глядень. Невыспавшийся, седлал коня. И теперь снова скакал, пыльный, потный и радостный. Давешний боярчонок указал ему, как найти воевод, и вот теперь он, невольно робея, приближался к кучке богато изнаряженных бояр на холме, над Окою. На него оглянулись двое-трое, вопрошая без слов: чего, мол, тебе?

— Микулу Василича! — совсем смешавшись и заливаясь алым румянцем, пролепетал Иван. Рослый боярин в колонтаре и холщовом, надетом сверху, нараспаш, летнике, оборотил к нему румяное, крепко сработанное лицо.

— Натальи Никитишны... Федоровой... сын...— растерянно вымолвил Ванята и, вспыхивая почти до слез, докончил: — Я под Скорнищевым был, на рати!

Бояре — на него уже глядели трое или четверо — расхохотались дружно.

— Ай, врешь? — лукаво вопросил Микула.

— Вот крест! — Иван поднял руку, осеняя себя крестным знамением. Лицо у него от гнева и обиды то вспыхивало, то бледнело. Боярин кивнул по-доброму, показавши глазами к подножью холма, выговорил:

— Пожди тамо! — А сам, оборотясь к осанистому, широкому, с широким, словно топором вырубленным лицом молодому боярину, произнес, продолжив прерванный разговор: — Я мыслю, Оку надо переходить! Наши злее будут!

Молодой, в дорогом, отделанном серебром пансыре с зерцалом и литыми налокотниками, кивнул важно, скользом, без интереса, глянув на отъезжающего подростка с отцовской, не по росту, саблей на перевязи,

поднял вновь на бояр повелительные глаза (то был сам великий князь Дмитрий), вопросил:

— Как мыслит о сем князь Боброк?

Ответа боярина Ванята уже не слыхал, но по тому, что скоро вниз по обрыву поскакали опрометью вестоноши и ратные начали поворачивать к берегу, понял, что решено было переходить.

Он держался теперь Микулы Вельяминова, следуя за ним то издали, то близ, наконец был вновь замечен боярином, услан с поручением, толково передал сказанное, и так к концу дня стал вельяминовским вестоношею, в каковом чине, уже на равных, сидел вечером у походного огня — уже на той стороне Оки, которую переходили по сработанному всего за несколько часов наплавному мосту из челноков, бревен и уложенного на них дощатого настила,— ел кашу из общего котла, сушил, как и все, измоченную одежу и заснул на попонах, привалясь к боку бывалого седоусого ратника...

Литовский передовой разъезд встретили, когда уже миновали Алексин, под Любутском. Дело створилось на заре, и Ванята, только что выполнив очередное поручение боярина, заслыша крики и ржание, поскакал, со сладко замирающим сердцем, вперед по полю, на краю которого выныривали из кустов чужие, литовские комонные, сшибаясь в рубке с московской немногочисленной сторожей. Он ощупал саблю на боку, с запозданием подумав о том, что доселе вздымал ее только двумя руками и рубил лопухи и крапиву, стоя на земле, хорошенько расставив ноги, а совсем не верхом и не сидя на скачущей лошади. Представилось, как он роняет клинок под ноги коня, потом теряет стремена... И Ванята, сжав зубы, унимая тем невольную дрожь, крепче ухватил поводья, раздумавши обнажать саблю, и, вертя головою, начал искать, к кому бы пристать.

Литовская конница, приканчивая последних не сбитых с седел русичей, все выливалась и выливалась из леса. Иван словно завороженный скакал и скакал вперед, страшась и не смея отворотить коня, и уже различал лица литвинов, когда с того краю вырвался, обходя литовскую лаву, свой, московский, полк и пошел наметом, посверкивая бронями, с далеким, грозно растущим кликом:

— Москва-а-а! Хурр-а-а!

Москвичи еще были далеко, а литва близко, но, завидя обходящий их полк, литвины начали заворачивать коней ему встречу. Одинокий мальчишка, мечущийся на лошади по полю, не остановил в этот час ничьего внимания. Ваня с запозданием понял, что вновь, как и под Скорнищевым, по отроческой глупости полез куда не следовало и что спасти его опять может только чудо. Чудо и произошло, когда с этой стороны, заходя литвинам в тыл, вымчала новая волна конных москвичей. Не принимая ближнего боя, отстреливаясь из луков, литвины начали отходить. На глазах у охнувшего Ваняты литвин вздынул саблю и снес голову захваченному им только что русскому полонянику, а потом, сорвав с плеч трупа аркан, крупно поскакал к лесу, уходя от погони.

Там, впереди, все-таки сшиблись. Сверкали, колеблясь над головами, лезвия сабель, вздымался и опадал волнами ратный крик, и Иван, закусив губы, снова поскакал вперед, в бой. Ему навстречу мчался на большом коне длиннолицый литвин без шелома. Скорее от ужаса, чем от чего другого, Ванята вырвал из ножен отцовскую саблю и, держа ее нелепо перед собою, закричал с провизгом, тонким детским голосом, в надрыв:

— Сдавайсь! А ну! Москва-а-а!

Литвин метнул недоуменный, ошалелый взор — он, видимо, был ранен,— поднял жеребца на дыбы, приобнажив было саблю, но сзади скакали двое, свертывая арканы на руки, и, оглянувшись, завидя их, литвин уронил поводья коня и поднял руки, показывая, что в них уже нет оружия. Подскакавшие москвичи его живо скрутили арканом и поволокли за собой, бросив с полоборота:

— Спасибо, парень!

Иван дрожащими руками очень долго вставлял непослушную саблю в ножны, после чего, ощутив мгновенную слабость и тошнотный позыв, согнулся было в седле, но, справясь с собою, выпрямился и поскакал назад, разыскивать своего боярина.

Этою суматошною сшибкой с передовою литовской заставою все и окончило. Литвины отступили за глубокий овраг, перейти который и пешему было бы трудно, а конному вовсе никак. Московские полки, заняв другую сторону оврага, все подходили и подходили. С Ольгердом произошло то, что бывало уже не раз и что он тщательно скрывал от окружающих: он испугался. Остановленный оврагом, лишенный возлюбленной им быстроты и внезапности натиска, он вместо того, чтобы предпринять обходное движение, начал, не распуская воев даже в зажитье, сосчитывать московские полки. Их было не так мало, чтобы решиться на кровавый приступ. Представив себе овраг, полный шевелящейся грудою сверженных коней и ратников, литовский князь почуял истому и даже зубами заскрипел. Меж тем минул еще один день и еще. «Быть может, подойдет Олег, грянет московитам в тыл? — думал литовский воевода.— Тогда тот же овраг можно бы было превратить в ловушку для москвичей!» Но Олег все не шел. (К чести его скажем тут, что он ни разу не выступал вкупе с литвою, как и с татарами, против русичей.) И Ольгерду стало ясно в конце концов, что рязанский князь не придет вовсе.

Вечером четвертого дня Кейстут долго спорил с Ольгердом в его шатре.

— Я не могу ради тверского князя губить здесь, под Любутском, литовскую рать! — кричал Ольгерд, со злостью глядя на непонятливого брата, коему он стеснялся сказать всю правду.— Ты пробовал перейти Оку? Там всюду московские заставы! У них челны, у них наплавный мост, они перейдут на ту сторону раньше нас! Вести полки к Туле? А потом? У наших ратников кончается хлеб! Коней я могу кормить несжатою рожью, но не ратных!

— Зачем же мы сюда пришли?! — мрачно спросил Кейстут, исподлобья глядя на брата.

— Зачем... Заключить вечный мир! Я не могу воевать одновременно с Русью и немцами! Все прочее пусть решают Михайло с Дмитрием сами!

— Ты не хочешь больше помогать шурину? — тихо вопросил Кейстут.

— Да, не хочу! — отозвался Ольгерд, глядя мимо

братнего лица.— Он и так захватил слишком много!

За шатром гомонили ратные, Кейстут, высокий, худой, молча встал и, склонясь, вышел из шатра. Ольгерд повалился на кошмы, сожидая, когда войдет мальчик-слуга. Выговорил сквозь зубы, зная, что его не услышит никто:

— И кроме того, Кейстут, я и сам не хочу погибнуть здесь, на Оке, ради дел своего безумного шурина!

Назавтра начались переговоры. Бояре, те и другие, несколько раз перебирались через овраг, уряжая статьи нового мирного договора, почти сходного с предыдущим, по крайней мере в том, что Ольгерд, заключая мир с московским князем, отступался от своего тверского шурина, предоставляя решение всех порубежных споров суду самих владимирских князей, Михайлы с Дмитрием.

Полки уходили с береженьем, опасаясь погони. Но и московские рати, достигшие Москвы много ранее возвращенья Михайлы во Тверь, в новый поход не тронулись. И не мирный договор, а тайная грамота, присланная из Орды Федором Кошкою, была тому виною.

Глава 47

Сидели не в большой думной палате, а в тесной горнице княжеских хором. Дума не дума, а собрались «вернейшие паче прочих». Четверо Вельяминовых. Василий Василич тяжко сидит на лавке, его мучает грудная болесть, но таковое дело без тысяцкого не решить. Тимофей Василич, окольничий, глядится нынче куда моложе и крепче брата. Иван Федорович Воронец и Микула Василич вдвоем являют собою второе поколение Вельяминовых. Ивана нет, Дмитрий сам настоял, чтобы позвали отца, а не сына, и князю не стали перечить. Семен Жеребец и Федор Андреич Свибло представляют здесь могущественные семьи Кобылиных и Акинфичей. Матвей Федорович с племянником Данилою Феофанычем — оба заматерелые, оба в сединах — митрополичий род бояр Бяконтовых. Митяй, князев печатник, созванный волею князя, сопит; он крупен, велик, красен лицом, подозрительно взглядывает на сухого, согбенного в кресле митрополита, который не глядит на Митяя, но не глядит нарочито: меж ним и коломенским попом, вошедшим в силу при молодом князе, нелюбие возрастает год от году, и нелюбие самого безнадежного свойства. Алексий на выносит громогласности, чревной силы и отягощенного книжными украсами ума княжеского печатника; Митяй не понимает всех вообще молчальников-исихастов. «Почто и даден Господом разум человеку, дабы не молчать, но разумно глаголати!» И, будь дело в Константинополе четверть века тому назад, поддержал бы, поди, Варлаама с Акиндином против Григория Паламы. Он любил красоту службы и понимал в ней премного, мог страницами цитировать на память святых отцов. Любил обильную трапезу и тоже понимал, как никто, в изысканных яствах и питиях различных земель, нимало того не скрывая. Охотно выезжал с князем на соколиную охоту. И монастыри ему нравились те, где мог, по его словам, «муж нарочит упокоить себя от трудов и суеты на старости лет», где в келье удалившегося от дел боярина были бы слуги и весь привычный и богатый жизненный обиход. На дух не принимал он поэтому ни Сергия, ни племянника его Федора Симоновского, полагая глупцом и тунеядцем каждого смысленого мужа, удалившего себя, заместо служения князю, куда-то в гиблые леса и болота, на съедение комарью...

Теперь Митяй, шумно вздыхая, изредка взглядывает в сторону митрополита Алексия, пошевеливает руками, все не ведая, как ловчее уложить крупные длани с драгим золотым перстнем на левой руке, и тихо негодуя суровому невниманию митрополита.

Иван Мороз, Иван Дмитрич Красный-Зернов, Андрей Одинец, Александр Всеволож сидят тесно по лавкам, вперяя очи в князя. В самом углу Дмитрий Боброк. Давеча Дуня намекнула Дмитрию, что Боброк вдовец, а Нюша, сестра Дмитрия, уже на выданье, и великий князь, мгновеньями отвлекаясь от дела, разглядывает по-новому чеканный лик волынского воеводы.

— Женишь на Анне, верный из верных будет тебе! — сказала давеча Дуня, и теперь Дмитрий, хмурясь, украдкою изучает возможного своего шурина. Красив! И не сказать, чтобы стар! Поди, Дуня с сестрой уже и промеж себя сговорили!

— Одним махом кончить войну! — произносит вслух Иван Мороз. Боброк молчит, хмурит густые брови. Ему затея не по нраву, хотя и отрекаться от нее смысла нет. Федор Кошка не стал бы баять пустого.

Алексий взглядывает исподлобья, медлит. Взгляд его строг, но он тоже не думает сказать «нет» и озабочен лишь тем, где взять эдакую прорву серебра. Десять тысяч! Москву из камени построить мочно и всю рать заново вооружить!

— Десять тысячей серебра! — раздумчиво повторяет Зернов.— Ежели всех бояр упросить...

— Стефан Комнин обещает заем от греческих гостей-сурожан в четыре тысячи! — строго отвечает Алексий, сверкнув взором, и вновь склоняет сухую лобастую голову.

— Заемное серебро дорого, да и недостанет все одно! Ежели объявить бор по волости? — предлагает Александр Всеволож.

— Народ оскудел! — твердо и кратко возражает Иван Мороз. Тяжкий прошедший год и дань, которую собирали, дабы удоволить княжеских должников прошлою осенью, помнятся всем.

Окольничий Тимофей Вельяминов яро ерошит волосы.

— Посад надобно потрясти! Не может того быть, чтобы не набрали! Ты как, Василий? — обращается он к брату. Тысяцкий смотрит, думает, с хрипом выдыхая воздух из больной груди. Чуется, что он уже «там» и больше слушает себя самого, чем окружающих. Но и он, пересиливая немощь плоти, склоняет багровую шею.

— Тысячи две на посаде соберем! — говорит, подумав. И тоже — не ведая явно иной неудоби, а токмо трудноту насущную от тягостей недавнего литовского разора и летошнего голода.

Дмитрий растерян. Поворачивает то к тому, то к другому широкое лицо с пятнами лихорадочного румянца, выступающими всегда, когда князь взволнован или гневен. Он так был горд недавним стоянием у Лю-

бутска! Так радовал победе, тому, что сам грозный Ольгерд отступил перед ним! И теперь бы начать отбивать у Михайлы по очереди великокняжеские города... А ему предлагают неслыханное, ни на что не похожее дело, скорее торговую сделку, пристойную хитрым грекам или настырным генуэзским фрягам, а не ему! Но и Боброк не возражает, и старый владыка мыслит согласно с прочими... И, как это было когда-то при Калите и Узбеке, вновь ратную силу, кровь и осады городов должно заменить тяжелое русское серебро. (То самое, перенять которое у него, Дмитрия, хочет Михайло, разграбивший Торжок!)

«Серебром и златом не налезу (добуду) дружины, дружиною же налезу серебро и злато!» — сказал некогда киевский князь Владимир Святославич, креститель Руси. А вот им теперь надобно не дружиною, но златом одолевать соперника.

Десять тысяч! За десять тысяч, пишет из Орды Федор Кошка, Мамай продаст москвичам княжича Ивашку, старшего сына тверского князя. Продаст наверное. Вот! И не надо городов брать!

Бояре, чуя правоту Федора, все согласны. Данило Феофаныч вздыхает:

— Надобно киличеев слать! Выкупил бы только опосле Михайло у нас сына своего!

Глава 48

Ивашку, купленного тверского княжича, привезли на Москву в Филиппово заговенье, на второй день. Старый митрополит сам встречал дорогой поезд и твердо, прекращая все недоумения, повелел отвести пленника к себе на митрополичий двор. Дмитрию, не сожидая вопроса, высказал:

— Случись со княжичем какая беда, от одних покоров погибнем! — И Дмитрий, подумавши, полностью согласился с митрополитом.

Ближайшим итогом привоза явилось то, что спустя немногим больше месяца, после Рождества, Михаил Василич Кашинский сложил целованье князю Михайле и укатил из Кашина в Москву, откуда устремился в Орду хлопотать о своих правах под тверским родичем.

Тем же Рождеством, значительно усилив князя Олега, умер Владимир Пронский, а первого марта — князь Еремей, подручник Михайлы Александровича. Тем же мартом, двадцать седьмого, в самом конце года, скончался тверской владыка Василий.

Михайло сидел у постели своего епископа, многажды пострадавшего за князя, а тот, умирающий, взглядывал заботно в очи своему духовному сыну и говорил, трудно справляясь с дыханием.

— Оставляю тя, сыне... Прости... В тяжкий час! Иван в нятьи московском... А токмо, молю, допрежь не говорил я того... Замирись, сыне! Земля не приемлет тебя! Поздно! Ратный труд... Людие гибнут... Что ж делать-то, княже! Видишь сам! Подвиг христианина в отречении! Смири себя перед Господом!

Михайло молчал. Умирающий боялся за него, не хотел оставлять одного пред ликом новой роковой трудноты. Сына могли уморить, отравить, зарезать — все могли! Умирающий епископ знал это слишком хорошо, но знал и другое, о чем с трудом и болью пытался поведать в свой смертный час.

— Земля не хочет! — повторил он со скорбью, и это были последние слова старика. Михайло сам закрыл ему очи, не подпустивши священника, и уже когда тело начало холодеть, встал, шатнувшись, крепко поцеловал владыку в лоб, вышел стремительно из покоя.

Земля его не хотела! Новгород вновь призвал к себе московского князя Владимира Андреича и, не желая смиряться с потерей Торжка, готовил, по слухам, новые рати. Князья крупных уделов выжидали, не ввязываясь в спор. Города приходилось брать приступом. Кто ведает, как повернулись бы события, не захвати его в тот раз князь Дмитрий с владыкою Алексием в полон!

Двадцатого апреля, совершив подкоп, бежали из Твери, из погреба, взятые в Торжке новогородцы Яков Ус и Глазач. (Захваченных новгородских бояр Михайло не отпускал, требуя принять своего наместника в Новгород.)

Весною же, едва сошел снег, в Тверь начали стягивать изо всех тверских и новоторжских губ мужиков на городовое дело. Копали ров и насыпали вал от Волги до Тьмаки, заключая город в кольцо новых стен. Михаил сам руководил работами, требуя свершить невозможное, и невозможное было свершено, а Тверь в случае приступа московских ратей могла теперь выдержать любую осаду.

С Москвою не было в это лето ни мира, ни войны. В июне Мамай пришел набегом на Рязанскую землю, и князь Дмитрий со всеми силами Москвы и подручных княжеств все лето стоял у Оки, на переправах, готовясь к бою с Ордой.

В июле в Тверь приезжал посланец патриарха Филофея, болгарин Киприан. От Киприана вновь осталось у Михайлы странное впечатление: будто бы друг и будто бы вражеский соглядатай. Он толково и старательно выспросил и даже записал все неправды Алексиевы, обещав повлиять на мнение патриарха, и очень осторожно дал понять, что возможна замена старого митрополита иным лицом, о чем хлопочут и литовские князья, озабоченные тем, что подвластные им епископии долгое время остаются без пастырского окормления и надзора, «понеже митрополит не выезжает за пределы земли Владимирской». Предлагал также свое содействие в устроении мира с Москвой, указывая на общую беду, проистекающую от «нечестивых агарян, сиречь татар». Князь не ответил болгарину ни да ни нет, так и не понявши, кто перед ним: враг Алексия, посланец Ольгерда или тайный возлюбленник московского великого князя?

Длилось немое и грозное противостояние. Сын тверского князя, Ивашка, как звали его на Москве, сидел по-прежнему в московском нятьи, наместники Михайлы — по городам. По-прежнему выжидали, оставаясь в стороне, ярославский и ростовский князья. По-прежнему Борис не решался выступить один против Москвы и старшего брата и тем поддержать князя Михай-

лу — слишком очевиден был для него в этом случае скорый разгром. Тверские послы катались из Твери в Москву и обратно. Дмитрий требовал ежели не отказа от прав на владимирский стол, то, во всяком случае, признания его великим князем владимирским согласно последнему ярлыку Мамая и очищения захваченных городов.

Михайловы бояре медлили, ждали вестей из Орды, ждали, что Мамай победоносно перейдет Оку, и тогда возможно будет потребовать от Дмитрия передачи власти. В городах шумели самостийные веча, епископы, ставленные Алексием, призывали к верности московскому престолу, посадские и купцы в спорах доходили до драк. Многие хотели заложиться за тверского князя, и все-таки Москва побеждала. Медленно, но неуклонно мнение земли поворачивалось в сторону князя Дмитрия, «законного», ибо государственные усилия митрополита Петра, Калиты, Симеона, а паче всего владыки Алексия дали свои плоды, связав судьбу русской земли с московским престолом. В какой час, в какой миг понял это и уступил князь Михайло?

Он уступил в этот раз без боя, уступил сам, после того, как зимою, двадцатого декабря, умер Михаил Василич Кашинский, а его сын, Василий, «по совету с бабою, с княгинею со Оленою и с бояры с кашинским приехал в Тверь ко князю великому Михаилу с челобитьем и вдашася в его волю». Это была победа. С подчинением Кашина Михаил Тверской сразу становился сильнее и мог вновь спорить с Москвой...

Он сидел один в горнице, куда удалялся теперь, когда одолевала тоска по сыну. Даже ежели Иван вернется домой, что они с ним содеют, что станет с детской душой после долгих месяцев заключения? Сломают? Ожесточат? Озлобят?! Что возрастет в его сердце? Отчаяние? Ненависть? Страх? Кого он увидит перед собою, получивши сына назад? Верни мне сына, Дмитрий! Да, ты доказал, что значит Орда! Чего стоит Мамай! Но чего стоишь ты, великий князь московский!

Мамай, получив серебро Дмитрия, удержал за собою Сарай. Он не винил Мамая, он просто перестал ему верить. Ждали размирья с Москвой — об этом шептали ему генуэзские фряги. Не дождались. Дмитрий простоял на Оке, так и не обнажив меча.

Олег после нынешнего погрома не союзник. Новгородцы Торжок не отстраивают, ждут, когда уйдут тверичи. Ольгерд опять послал войска на Волынь. Нынешнею зимой он не выступит.

Сколько может длиться нынешнее противостояние? Наместники захваченных городов доносят о смутах, не ведают, чем усмирять бунтующую чернь. Что же, он должен будет в каждом городе, как в осаде, держать тверскую ратную силу? Ярлык опять у Дмитрия, и это ведомо всем!

Да, он великий князь и останет великим князем тверским, ежели уступит Дмитрию. Лукавил он разве, полагая Тверь, а не Москву наследницею власти в земле Владимирской? Сколь красноречиво глаголют летописи, и сколь жалок лепет потомков, в крови которых нет воли и мужества великих отцов!

Скрипнула дверь. По легким шагам за спиною узнал, не оборачиваясь, Евдокию. Поднял руку, предостерегая, дабы не говорила о сыне. Помедлив, сказал:

— У тебя их еще трое!

— Неужели?!

— Молчи!

— Я гадала нынче в Сочельник...

— Ну?

— И видела его лицо. Жалкое такое, думаю — болен!

— Алексий — врач. Болящего он вылечит, ежели не захочет уморить!

Евдокия всхлипнула. Страшась остаться и не в силах уйти, она стояла у порога, полуприкрывши дверь.

— Кто помогал новогородским узникам бежать? Пройти всю Тверь? Миновать стены и выйти из города? Измена тут, в городе? Князь я еще али нет?! Или и меня вместе с сыном продали Москве?

— Миша, милый... Мне страшно, я... боюсь за тебя!

— Бойся за сына! Я не сойду с ума и не перережу себе горла! Слышишь?! — Он яростно обернулся, вперил мрачный взор в растерянное лицо жены. Она задрожала, вот-вот упадет на колени, будет его умолять...— Ступай!

Покоя не было. Он встал. Сам запер за женою дверь. Расхаживая по горнице, вспомнил вдруг, как весело, со славщиками и крестным ходом, справляли нынешнее Рождество. Ему одному было не до веселья. То, что собиралось, скапливалось целый год, нынче прорвалось истечением гноя. Он ненавидел себя, других, родимую Тверь, престол, владыку Алексия, бояр, смердов, князей... Он был один! Он, как Кантакузин, надумал в одиночку спасать родину, а земля не хочет того. «Не хочет земля! — почти закричал он.— И твоя, тверская?» — вопросил спокойно внутренний голос, и Михайло, до того метавшийся взад-вперед по горнице, застыл, слушая, будто бы кто-то, внутри него сущий, разговаривал с ним.

— Ты же сам, сам отверг власть, отказавшись от татарской помочи! Мамай не простил тебе этого и не простит никогда! Ты плюнул ему в лицо, ты сказал ему: «Вонючий степняк, не нужна помочь твоих грабителей!» — вот что ты сказал ему!

А Ольгерд? Будет он ждать, когда у него под боком возникнет великое Тверское княжество и, поглотив Новгород, начнет отбирать у него захваченные русские волости одну за другой? Ты ворог шурину своему, потому что захотел не подчиненья, не помощи сильного, а величия родимой земле и славы в веках!

А ратники, которые погибнут в напрасных боях? А сожженные города, сгоревшие иконы и книги, пеплом развеянная мудрость иных поколений? Ради чего ты снова и снова бросаешься в бой?

— Ради чего? — спрашивает Михаил.— Ради великого прошлого! Ради могил и памяти отчей! Ради тех, которые придут после нас и будут, должны ведать, что пращуры их не были половой, перстью, разносимою ветром, что были они отборным зерном и оно взошло!

— Война никого не учит и не воспитывает. Она только отбирает жизни. Воспитывает поколения мир-

ный труд. Ежедневное усилие пахаря важнее подвигов на поле брани!

— Но и пахарь не жив без защиты и обороны воинской!

— Тебе предлагают мир, а не сдачу и плен. Дмитрий достаточно укрощен, а мненье русской земли тебе ведомо! — звучит бесстрастный внутренний голос.— Именно теперь, когда Кашин в твоей воле, уместно заключить мир с Дмитрием!

— Хорошо! — говорит Михаил, уже сдаваясь голосу, и повторяет вслух: — Хорошо! Но что настанет потом?

— Ты получишь сына! Это уже немало! И земля обретет тишину!

— А воля? А власть? А слава?

— Ты все это видел во время пожара Торжка! — жестоко отвечает голос.— И ужели не усладил себя до конца? Пять скудельниц трупья собрали после тебя в городе, не считая тех, кто сгорел без остатка или утонул в Тверце! Татары не сумели бы совершить больше!

Михайло берет себя руками за голову, голова в огне. Череп вот-вот разорвет, вот-вот лопнут жилы и хлынет кровь и ему станет легко-легко, он исчезнет, обратится в ничто, и — тогда?

— Тогда твои бояре заключат мир с Москвой! — говорит внутренний голос.

— Значит, все дело во мне?

— Значит, так!

...И когда он уже решил в исходе ночи, такою отчаянной болью охватило сердце, что князь едва не умер, едва не упал под грузом задавленной страсти. Он, шатаясь, добрел до порога, цепляя непослушными пальцами, откинул щеколду... Ждала ли Евдокия или сердцем почуяла мужеву трудноту? Подхватила, довела до постели...

Наутро Михайло объявил боярам, что намерен заключить мир с князем Дмитрием, освободить захваченные города и выкупить сына Ивана. Дума не спорила.

О Крещении прибыли в Тверь долгожданные московские послы. Еще через четыре дня Михайло с Евдокией встречали старшего сына. Подросший отрок стеснялся отца, считая себя невольною причиной его уступчивости московскому князю, конфузился материных ласк. Перебыв у Алексия, стал привержен к молитвам и постам и как-то очень долго не мог взять в толк, что снова свободен вершить что хочет и скакать куда вздумается. Единожды отец застал его плачущим.

— Батя, я никудышный князь, да? — спрашивал Иван, давясь слезами.— Я должен был умереть, да?!

Михайло с трудом успокоил первенца. Самого после трясло: «Что я содеял с сыном!»

Были отпущены пленные с обеих сторон. Наместники Михаила съехали с захваченных городов. «И бяшеть тишина и от уз разрешение христианом, а радостью возрадовалися людие, а врази их облекошася в студ»,— записывал летописец, веря сам, что наступил конец тяжкой, раздиравшей русскую землю при и возможно станет, наконец, «отдохнуть христианом». Увы! До конца было еще далеко...

Глава 49

1374 год начинался торжественно. Двадцать четвертого февраля (по мартовскому счету в исходе предыдущего, 1373 года) Алексий в Москве, в Успенском соборе, прилюдно рукоположил во епископы Суздалю, Нижнему Новгороду и Городцу игумена нижегородского Печерского монастыря Дионисия.

Дионисий опередил Сергия Радонежского с Алексием в создании общежительных монастырей. Был истинно глубок знаниями, «книжен», как говорили в старину, и очень многое свершил для развития в Нижнем летописания и иконного письма. На его проповеди собирались сотни и тысячи народу. Он бестрепетно спорил с князьями, требуя от них мужества и скорейшей борьбы с Ордой. «Изгнать нечестивых агарян!» — этот призыв, невзирая ни на какие хитрые политические расчеты, он повторял ежечасно. В Орде отлично знали об этих его призывах. Еще Джанибек называл его «сумасшедшим попом Денисом», который заставит своего князя, ежели тот получит стол владимирский, тотчас выступить против татарской власти. Именно он, Дионисий Суздальский, создал, руками монаха Лаврентия в 1377 году, тот летописный рассказ о нахождении Батыевом, который дошел до нас в составе Лаврентьевской летописи и который не столько описывал то, что было на самом деле в 1238 году, сколько призывал к битве с захватчиками, живописуя ужасы нашествия и героизм тогдашних, к 1377 году уже легендарных, русичей, так что истинная картина захваченной почти без боя страны, князья которой больше стремились напакостить соседу, чем выступить заедино противу монголов, невеселая эта картина почти нацело исчезла, растворилась в великолепной ораторской прозе епископа Дионисия. Добавим, что «попа Дениса» хотела видеть своим епископом вся Нижегородская земля, суздальские князья полагали выдвижение Дионисия на престол делом своей чести и неоднократно хлопотали о том перед митрополитом всея Руси.

Затем, однако, Алексий и не ставил столь долго Дионисия во епископы Нижнему, что слишком хорошо знал о его неистовой страсти и воинственных призывах, и рукоположил наконец в нынешнем 1374 году только потому, что отношения с Ордой и с Мамаем по вине властного темника и его генуэзских советников испортились — хуже некуда и уже замаячил на окоеме тот роковой рубеж, когда, оставив недейственные слова, народы и государи берутся за оружие. А тут уже и нужны становятся люди, подобные Дионисию Суздальскому, способные камни и те поднять на борьбу пламенным глаголом своим.

...Епископы рязанский, ростовский, брянский и сарский съехались на хиротонию Дионисия. Леонтий-Станята, не так давно рукоположенный в сан пресвитера, в непривычном для себя атласном облачении стоял в ряду священства, остраненно наблюдая за Алексием. Утром благовестили во все московские колокола, и народу в храме было — яблоку негде упасть.

Вот вышли на помост два ряда высших архиереев: четыре епископа, архимандриты, игумены, протоиереи.

— Благословен еси, Христе Боже наш, иже премудры ловцы являй, ниспослав им Духа Святаго, и теми уловлей вселенную, человеколюбче, слава Тебе! — поет хор иерархов и священников, и он поет, ожидая, когда из алтаря выведут Дионисия.

Вот нижегородский игумен кланяется у престола — дважды в пояс и третий раз земно,— затем кланяется собравшимся иерархам в царских дверях и торжественно сходит с солеи. Его ведут под руки, ставят на орлец перед помостом. В толпе движение, шорохи, шепот — толкаются, тянут шеи поглядеть на нового ставленника. Смолкает хор, и тотчас восстает высокий, отдающийся под сводами глас протодиакона:

— Приводится боголюбезнейший избранный и утвержденный архимандрит Дионисий хиротонисатися во епископа богоспасаемых градов: Суздаля, Нижняго Новагорода и Городца!

— Чесо ради пришел еси, и от нашея мерности чесого просиши? — вопрошает в наступившей тишине Алексий все еще ясным, хотя и несильным голосом. Сейчас, в блеске одежд, в жарком сиянии свечей, в роскоши осыпанных яхонтами, алмазами и жемчугом облачений, пестроцветье атласа, парчи и шелков, под ярко сияющими в иконостасе огромными образами суздальского, новогородского, тверского и московского письма, в виду многочисленных ратей лихих святителей, украшенных мужицкими бородами, писанных по стенам и сводам собора мастерами Симеона Гордого, перед толпою разряженных горожан, в громоподобных гласах мужского хора — во всем этом величии и блеске православной церковности — Алексий, в алтабасной митре, с драгим посохом, с рукою, слегка вздрагивающею от тяжести поднятого креста, видится ему очень-очень старым уже!

— Хиротонию архиерейская благодати, преосвященнейшие! — громко и как-то, возможно, излишне твердо отвечает Дионисий Алексию. Он тоже зело не молод! Но сух и прям, и огненосен взором, и видится оку Леонтия, что это — Дионисиев звездный час!

— Како веруеши? — вопрошает Алексий, и весь собор слушает гордые, в устах Дионисия, слова символа веры.

Алексий медлит, но вот протягивает крест и, благословляя крестовидно Дионисия, устало и как-то слишком обреченно произносит:

— Благодать Бога Отца и Господа нашего Исуса Христа и Святаго Духа да будет с тобою!

Вновь взмывает ввысь, отражаясь от сводов, глас протодьякона. Вновь Дионисий отчетисто излагает теперь уже догмат веры о ипостасях триединого божества, обязуется соблюдать каноны святых апостолов и семи вселенских соборов, хранить неизменно святые уставы церкви, хранить церковный мир и повиновение митрополиту и патриарху константинопольскому, быть в согласии с прочими архиереями, с любовию управлять паствой.

— Клянусь! — возвышает голос Дионисий.— Не творить ничесоже по принуждению сильных мира сего, даже и под страхом смерти!

Длится торжественное действо посвящения. Вновь следуют поклоны, многолетия, целования рук... «Что мы делаем?!» — думает Леонтий и вдруг нежданно понимает, что жизнь идет, и то, к чему призывает Дионисий, произойдет рано или поздно, не может не произойти! И что усталость и даже смерть отдельного человеческого существа — гибель Никиты и тысяч иных смердов и ратников, грядущая уже вскоре смерть владыки Алексия — все это ничто, ежели живы, ежели продолжают жить народ, язык, земля Русская! Он глубоко вздыхает, провожая взглядом гордую спину суздальского новопоставленного епископа, возвращающегося в алтарь. Складываясь двумя рядами, уходит, втягивается в царские врата атласная и золотая вереница иерархов церковных. Прилюдное действо окончено. Дальнейшее происходит там, у престола, а здесь начинается литургия.

В алтаре Дионисий становится на колени. Руки, сложенные крестообразно, на престоле. Голова опущена на руки. На темени его раскрытое Евангелие письменами вниз. Архиереи, столпясь, возлагают руки на Евангелие.

— Избранием и искусом боголюбезнейших архиереев и всего освященного собора,— говорит Алексий,— божественная благодать, всегда немощная врачующи и оскудевающая восполняющи, пророчествует благоговейнейшаго игумена Дионисия во епископа Суздалю, Новугороду Нижнему и Городцу! Помолимся, убо, о нем, да приидет на него благодать Всесвятого Духа!

— Господи помилуй, Господи помилуй, Господи поми-и-и-луй! — звучит хор.

— Сотвори, Господи, сего нового строителя тайн достойным своим подражателем! — просит Алексий, обращаясь к Богу.— Да будет светом сущих во тьме, светильником в мире, да предстанет престолу Его непостыдно!

На Дионисия надевают саккос, омофор, крест, панагию и митру. Епископы по очереди подходят и целуются с ним.

...Во время приобщения Святых Даров Алексий подает пресвитерам Тело Христово, а новопоставленный — Святую Кровь в чаше. Ведает ли кто-нибудь из предстоящих, что скоро, очень скоро, Дионисий приобщит крови не токмо себя и нескольких иереев, но и весь Нижний Новгород? И то будет не преображенная, а самая подлинная кровь, причастная жертва, принесенная нацией на алтарь русской государственности!

По окончании литургии Дионисию вручается пастырский жезл — символ правления. Теперь его сможет остановить только смерть.

Поздно вечером Леонтий проник в келью Алексия. Владыка полулежал на подушках, прикрывши глаза. Служки суетились около него и, только завидя Леонтия, отступили, неслышно удаляясь из покоя.

— Леонтий? — вопросил Алексий, не открывая глаз.

— Будет война с Ордой? — вопросом на вопрос ответил Леонтий.

— Не ведаю! — Владыка приоткрыл вежды, взгляд его, поначалу мертвый, ожил и засверкал вновь.— Не ведаю, но мню, что нынче приходит пора новых людей. Тех, которые не будут ждать, терпеть и готовить грядущее, как мы, но творить и действовать, ввергаясь во брани!

Алексий все еще не был стар. Он и не мог угаснуть, не окончивши дела своего.

— Надобно напомнить володетелям, что престол великих князей владимирских — это теперь московский престол! — докончил он твердо.— И что конечное сокрушение Твери — дело всей земли, а не только одного московского князя!

Тишина звенела. В колеблющемся свечном пламени лики святых поводили очами. Перед ним был все тот же Алексий, победивший Романа, выдержавший гибельное киевское заключение, руководитель страны, пастырь народа и смиритель царствующих.

— Помоги мне подняться, Леонтий! — просит он.— Я еще не свершал вечернего молитвенного правила!

И уже когда Станята держит в руках это иссохшее, с птичьими острыми костями тело, в коем заключен неумирающий дух небесного воина, Алексий договаривает ему:

— На днях едем с тобою в Тверь. Мне надлежит благословить Михаила Тверского и встретиться с Киприаном. Об этом через Иоанна Дакиана настоятельно просит Филофей.

Глава 50

В Твери Алексий должен был торжественно, при стечении всего народа, снять проклятие, наложенное им на Михаила, чего требовал и патриарх Филофей, и заключенный мир, и попросту здравый смысл днешних политических отношений.

Посланец Филофея понравился ему. Киприан был истинно по-византийски образован, что не могло не расположить к нему Алексия, скромен, сдержан и совершенно равнодушен к телесным благам. Никаких жалоб на морозы, трудные дороги, непривычную еду, размирья и прочее, к чему так часто бывали неравнодушны приезжие из теплых западных стран, Алексий от него не услышал. О Литве Киприан судил здраво, хотя и очень сдержанно, не выказывая никакого мнения о литовских князьях. Даже внешний вид Киприана располагал — эта его аккуратная борода; застегнутая на все мелкие частые пуговицы долгая византийская ряса, сверх которой у Киприана была небрежно наброшена на плеча драгоценная (видимо, даренная литвинами) кунья шуба, ценности которой он то ли не ведал, то ли не желал знать, иногда оставляя ее в санях без догляда, ежели приезжал куда на краткий срок.

Леонтию Киприан, напротив, не понравился сразу. Были торжества, пиры, долгие службы. Остаться с глазу на глаз с владыкою все не удавалось. Случай представился уже в день отъезда.

Из Твери они должны были вместе с Киприаном ехать в Переяславль, где нынче находился великий князь и едва ли не весь двор. Дмитрий, возродив обычаи прадеда, почасту жил в Переяславле, где отстроил палаты, правда не в Клещине, а в самом городе, и охотничий домик для себя возвел в лесу, невдали от Берендеева, где дичь была непуганая и леса преизобиловали всяким зверем.

Леонтий зашел в маленькую горенку в верхних покоях тверского дворца, где отдыхал митрополит, и начал было торопливо и потому сбивчиво говорить о своих впечатлениях о Киприане.

— Зачем он вообще появился тут? Для чего ездит по Литве, а в Москву не явился ни разу?!

Алексий поднял руку, воспрещая Станяте дальнейшую речь. Взгляд его был устал и жалок.

— Филофей хочет установить добрые отношения патриархии с Литвой. Я не должен мешать ему в этом! — ответил он, а взглядом договорил то, о чем воспретил вопрошать: «Ежели Филофей Коккин и обманывает меня, мне о том неведомо, и я не желаю этого знать! На борьбу с человеком, коего я считал своим другом и коему верил, меня уже не хватит!»

Леонтий понял и замкнул уста.

И вот они едут в Переяславль. Все трое, вернее — семеро, ежели считать двух служек Алексия и двух сопутников Киприана, в обширном, обитом кожею и устланном шкурами владычном возке. В окна, затянутые пузырем, льется слепительное мартовское сияние, сверкают сырые снега, поля истекают голубою истомой, голые прутья тальника напряжены, тела осин — зелены, и птицы сходят с ума, уже почуяв весну. Возок колыхается, проваливая в мокрый снег. Вот-вот вскроются реки и рухнут пути.

Киприан сидит прямой, настороженно-спокойный, пряча руки в рукава то ли от холода, то ли дабы не показать невольным движением дланей того, что надежно скрывает гладкое лицо болгарина. Идет неспешная беседа на греческом. Не ведая, что Леонтий великолепно знает язык, Киприан в разговоре учитывает одного Алексия. Этот старец сперва произвел на него жалкое впечатление, и Киприан был удивлен тою сугубою ненавистью, каковую столь ветхий деньми и телесным здравием муж возмог вызвать в Ольгерде. Однако, присмотревшись к Алексию в Твери, Киприан мнение свое переменил, уже догадывая, что избавиться от Алексия будет далеко не просто. В Переяславле он надеялся понять то, чего не мог постичь до сих пор: причин таковой великой популярности Алексия среди московитов. Или это тоже вымысел?

Князь Михаил, которого, со слов Ольгерда, Киприан счел сперва послушным литовским подручником, разочаровал его. Тут, видимо, была третья сила, плохо укрощаемая и с непредсказуемою последовательностью своих поступков...

Возок встряхивало. Русский спутник Алексия сидел недвижимо. Твердое, в тугих морщинах, как у бывалых моряков или воинов, лицо секретаря было непроницаемо и враждебно. Киприан помыслил вдруг: а что, ежели этому русичу знаком греческий? Нет, скорее всего, нет! Злится, по-видимому, именно потому, что не понимает ни слова.

Возок взлетает и падает. Никогда, наверное, он не привыкнет к этой длинной зиме, к этим ежегодно раскисающим и паки замерзающим дорогам, где три четверти года снег, слякоть, лед, лужи и грязь, а три месяца сушь и вязкая пыль... Скифия! Дикая страна, которую он обязан просветить светом истинной византийской культуры! Тут даже князья живут в деревянных, часто

выгорающих домах, упорно не возводя себе каменных хором. И как редко населена! Откуда тут берутся многочисленные и сильные, как говорят, армии? Почему Ольгерд не примет православия и не подчинит себе всю эту землю?

Киприан легко, чуть заметно, пожимает плечами. Разговор течет вольный, касаясь последних константинопольских новостей, анекдотов из жизни Иоанна Палеолога, совсем запутавшегося в женщинах, долгах и интригах. Алексий вопрошает о нынешних цареградских изографах, а Станята-Леонтий молчит, ибо видит, что умный патриарший посланец утаивает от Алексия главное, то, для чего он и прибыл сюда, а владыка, словно и сам того хочет, поддается обману.

Леса, леса и леса... Высокие горбатые лесные олени — лоси, с тяжелыми разлатыми рогами, выходят прямо на дорогу, стоят, фыркая на приближающийся санный поезд, и неохотно отступают в кусты. Давеча на той стороне Волги ясным днем видали медведя.

К Переяславлю подъезжали, спускаясь с горы, со стороны Весок, и белое, затянутое льдом озеро, и город открылся весь: в розовых дымах из труб и в игольчатом нагромождении храмов. Острые кровли и маленькие главки над ними, с куполами, похожими на луковицы, крытые узорною чешуей; монастыри; вал и рубленая городня по насыпу; белый, видный даже отсюда, каменный храм в середине города, строенный, как сообщил Алексий, еще до нахождения татар. Переяславль был не меньше Вильны, быть может даже и более, но явно уступал последней в каменном зодчестве.

— На Москве много каменных храмов! — как бы почуя Киприанову мысль, говорит Алексий.

Ему не хочется объяснять, что в деревянных хоромах жить на Руси здоровее и удобнее — пусть Киприан все это поймет когда-нибудь сам!

— Вот в этом монастыре мои палаты! — говорит Алексий, когда они уже подъезжают к низко нависшей над головою бревенчатой башне въездных ворот.

— Я хочу увидеть вашего чудотворящего игумена Сергия! — говорит Киприан. Алексий молча кивает. Поразительно, но почему-то в присутствии этого болгарина он, Алексий, чувствует себя бесконечно старым!

Их встречают. В монастыре и в городе звонят колокола.

Ночью Киприан, уже разболоченный, уже улегшийся в постель, долго не спит. Почему-то именно здесь рассказ Дакиана припомнился ему во всех подробностях.

Патриарший поверенный в делах России Иоанн Дакиан был человеком строгой и не подверженной никаким сомнениям веры. Но, сверх того, он был чиновником патриархии, в задачи которого входила и такая деликатная вещь, как проверка истинности сведений, сообщаемых при прошениях о канонизации того или иного подвижника. Он сталкивался с таким количеством подделок, обманов, суеверий и ложных чудес, что постепенно разучился им верить. По его собственному разумению несомненными чудесами можно было признать лишь воскресение и вознесение Спасителя, все же прочее было ежели не вымыслом, то преувеличением и легко объяснялось без вмешательства высшей силы. Поэтому упорные толки о провидческом даре и совершаемых Сергием чудесах Дакиан приписывал склонному к вымыслу мнению народному.

С тем именно настроением Дакиан и отправился, как он сам рассказывал Киприану, посетить Сергиеву пустынь. Последние несколько поприщ шел в обитель пешком, так как по какой-то причине возок не мог одолеть дорогу до монастыря. Воздух был, однако, свеж и напоен лесными ароматами, и Дакиан уверял Киприана, что он нисколько не устал и даже не запыхался. Однако, уже приблизясь к ограде монастыря, испытал ужас, тем больший, что причин для него не было никаких. Ужас этот не проходил и за монастырской оградою, а когда игумен Сергий вышел к нему (Дакиан уверял, что он даже не успел разглядеть лица преподобного Сергия), патриарший посланец вдруг потерял зрение. Это было непередаваемо страшно: мгновенная полная темнота! Сергий, то ли поняв, то ли ведая, что с ним, молча взял Дакиана за руку и повел в келью. Осторожно ввел по ступеням, завел в горницу и усадил. Дакиан продолжал, однако, ничего не видеть и тут; в этот вот миг он и почувствовал прожигающий душу стыд, повалился на колени и, плача, покаялся старцу в своем неверии, прося того излечить себя от слепоты. Сергий слушал его молча. Дождался, когда Дакиан, стоя на коленях, перестал говорить, свесил голову и просто молча лил слезы, вздрагивая, как когда-то, мальчиком, в далеком позабытом детстве.

— Довольно! — вдруг негромко произнес Сергий и, приподняв его голову за лоб, легко коснулся зениц прохладными кончиками пальцев, из которых как будто бы перетекла некая незримая сила. Так бывает при грозе, когда рядом ударит молния и покалывает и щекочет все тело, а по коже бегут мурашки. Дакиан прозрел, как и ослеп, сразу и вдруг. Он поднял глаза. Сергий стоял перед ним, задумчиво глядя на коленопреклоненного грека.

— Тебе, премудрый учителю, подобает учити ны, но не высокомудровать и не возноситься над смиренными! Зачем ты пришел? Ради какой пользы? Токмо уведать о неразумии нашем? Суетно сие! И стыдно пред праведным Судией, который все видит!

Дакиан позднее еще беседовал с Сергием, ночевал и назавтра пустился в путь, но о чем была дальнейшая беседа, совершенно не помнил, и вообще говорил и повторял Киприану, что с Сергием надобно не говорить, а видеть его. Попросту с верою в сердце побыть рядом.

Все это Киприан запомнил, отнеся к тем нарушениям психики, которые бывают со всяким от усталости, страха или упорных мыслей. И только здесь, вдруг и нежданно, его обеспокоило. Он понял — и это была совсем новая, ирреальная, несвойственная ему мысль,— что ведь ежели это так и все, сообщаемое о Сергии, правда, то ведь он, Киприан, не сумеет скрыть от этого старца своих тайных намерений! Он даже приподнялся в кровати. Помыслил мгновением: не бежать ли ему отселе? Пока нелепость последней мысли не сразила его совершенно, и он вновь откинулся на подушки, приказав себе уснуть.

Назавтра являлись к великому князю московскому, Дмитрию.

Прием был недолог и не пышен. Дмитрий, когда ему повестили о приезде патриаршего посла, нежданно-негаданно упрямился. Не стал устраивать большого совета и даже платье надел обиходное. Киприана провели ко княжеской семье, дабы он благословил пышную голубоглазую красавицу княгиню и недавно рожденного ею младенца, а затем сдали на руки печатнику князя попу Дмитрию, или Митяю, как его тут за глаза называли.

Митяй был в дорогом, явно богаче княжеского, облачении, поглаживая бороду, слегка улыбался. Угощал Киприана тонко нарезанною дорогою волжскою рыбой, удивительной тройною ухой, переяславскою знаменитой ряпушкой и прочими благами русской, зело нескудной земли. И хотя стол был строго рыбный, но изобилие грибов, ягод, варений, многоразличных пирогов, пряников, орехов в меду, сладких восточных заедок было таково, что казался этот стол отнюдь не постным. Выставлены были в серебряных и поливных сосудах квасы, красное привозное вино и хмельной мед, и Киприан, как ни отказывался, встал из-за стола в слегка осоловелом состоянии.

Не прекращая трапезы, уписывая разварную севрюгу, черпая ложкою тускло мерцающую черную икру, Митяй легко вел беседу, щеголяя знанием святоотеческой литературы, несколько раз цитировал по-гречески, и, когда выведенный из терпения Киприан попробовал было сбить спесь с княжеского печатника, задав вопрос, касающийся тонкостей богословского истолкования евхаристии, Митяй тут же явил блестящее знание литургики не токмо православной, но и католической, но и армянской, не говоря уже о кочевниках-несторианах. Нет, решительно, ущемить чем-либо этого иерея было невозможно.

Объевшийся и уязвленный, Киприан покинул княжеские покои, так и не поняв, зачем его принимали и чествовали. То ли в угоду Алексию, то ли дабы соблюсти дипломатический этикет в отношениях с патриаршим престолом. Говорить в особицу с боярами, что-либо выяснить из внутренних отношений московского великокняжеского двора ему так и не удалось.

Ехать в Троицкую пустынь, как собирался Киприан, стало неможно из-за раскисших путей. Но ему обещали, что старец вскоре должен явиться в Переяславль сам вместе с племянником Федором, игуменом Симонова монастыря на Москве.

— Как же они-то доберутся сюда в распутицу? Неужели верхом?! — удивленно спрашивал Киприан. Ему только улыбались в ответ.

Старец пришел в лаптях и с посохом, в крестьянской дорожной сряде из грубого сукна, линялого и заплатанного. Они вместе с племянником добирались, оказывается, какими-то потайными тропами через леса, где под елями, в гущине ветвей, еще держался твердый наст и возможно было пройти на коротких охотничьих, подшитых лосиною шкурою лыжах.

Услышав обо всем этом и увидев путников с торбами за плечами, старого и молодого, которых он, ей-богу, принял бы за нищенствующих крестьян, Киприан только вздохнул.

Алексий, принимая старцев, радостно раскрыл объятия. Сергий скользом, стремительно, озрел Киприана, прежде чем подойти к нему для лобызания.

Сергия здесь явно любили. Горицкий настоятель, келарь, эконом, экклесиарх, иноки, служки бегали в хлопотах, теснились получить благословение у троицкого игумена.

Скоро старцы, разоболокшись от верхней сряды, перемотав онучи, сменив мокрые лапти на сухие и отстояв короткую благодарственную службу в храме, были уже в настоятельском покое, за столом, уставленном хотя и не бедно, но отнюдь не так, как был уставлен стол у княжеского печатника. Сверх того, и оба игумена, хотя и выхлебали уху и отдали дань разварной рыбе, как-то очень быстро отстранились от едва утоленной ими плотской нужи.

За столом говорили больше о монастырских надобностях, Киприан же, присматриваясь, молчал. Рассказанное Дакианом не выходило у него из головы. Впрочем, старец Сергий был, ей-богу, не страшен! Худощавый, с лесными озерными светлыми глазами, быть может несколько близко расположенными друг к другу, что придавало его взору по временам какую-то настороженную остроту, с рыжеватою густою копною волос, заплетенных сзади в косицу, со здоровою худобою запавших щек, он, невзирая на свои пятьдесят лет, почти еще не имел седины в волосах или морщин на лице да и не горбился станом. Руки у него были мужицкие, грубые и одновременно чуткие, с долгими перстами. Странные руки, ибо решить по ним, кто перед тобою — пахарь, плотник или философ — было бы даже и затруднительно.

Племянник Сергия был свеж, воинствен, ярок взглядом, хотя и более хрупок, чем Сергий, и, видимо, очень увлечен делами созидаемого монастыря. Старец Сергий сдержанно и чуть-чуть лукаво любовался племянником.

Отстрапезовав, перешли в гостевую келью, и тут наконец разговор перешел на дела константинопольской патриархии. Старец Сергий как-то незаметно стушевался, сев сзади на лавку, и, к вящему облегчению Киприана, кажется, задремал. В разговоре, то и дело переходя на греческий, участвовали: Алексий, Федор и игумен Горицкого монастыря. Федор, оказывается, тоже изучал греческий и имел неплохое произношение, хотя слов ему порою и не хватало.

Киприан, избавившись от взгляда светлых настороженных глаз, почти позабыл про радонежского игумена. Федор жадно расспрашивал о попытках Палеолога установить унию с Римом, заставив Киприана прочесть целую схолию об отличиях римско-католического вероучения от православного.

Киприан говорил и видел, что Федор жадно впитывает все, запоминая и делая для себя какие-то внутренние выводы. Ему пришлось объяснять, как устроены патриаршьи секреты, что делают хартофилакт, сакелларий, протонотарий и прочие, кто и как обсуждает грамоты, посылаемые на Русь, и еще многое другое, чего он не очень и хотел бы долагать русичам, но, однако, рассказывал, уступая необычайному напору Федора Симоновского.

Алексий сидел, отдыхая, слушая и любуясь юною горячностью Сергиева племянника. А Сергий все это время отнюдь не спал, а внимательно смотрел в спину Киприану и, уже не вдумываясь в слова, начинал все более чувствовать и, чувствуя, понимать этого велеречивого синклитика.

Когда он понял, что Киприан прибыл на Русь, дабы сменить Алексия, улыбаться ему уже расхотелось. Он стал внимательнее разглядывать Алексиево лицо. Неужели владыка не видит, кто перед ним? Или... Нет, Алексий не хотел видеть этого! А Киприан? На чем он строит возводимое им прехитрое здание? На благосклонности к нему литовских князей? Но они все тотчас перессорятся со смертью Ольгерда! Страна, в коей не уряжено твердого престолонаследия, не может уцелеть за пределами одного, много — двух поколений! Неужели ему, византийцу, сие не понятно?! На чем еще держится его уверенность? На благосклонности Филофея Коккина? Но патриархи в Константинополе меняются с каждою сменою василевса, а власть нынешних василевсов определяют мусульманин-султан и католическая Генуя! О чем они мечтают? О каком соборном единстве православных государств?! Когда Алексий вот уже скоро двадцать летов пытается объединить под твердою властью никогда не распадавшееся вполне Владимирское великое княжение и еще не возмог сего достичь! На какой непрочной нити висят прегордые устроенья и замыслы сего болгарина! Господи! Просвети его, грешного! Да устроение единого общежительного монастыря важнее всего, что они замыслили там у себя вместе с патриархом Филофеем! Ведь оттуда, из греков, пришло к ним благое слово Учителя! Ведь и ныне не угас огнь православия в греческой земле! И вот он сидит перед ним в келье, муж, украшенный ученостию, искушенный в Писании и не понимающий ровно ничего! Ни того, что замыслил сам, ни того, на что надеется...

«И не поймет? — спросил себя Сергий.— И не поймет! И все-таки он надобен? — спросил Сергий опять.— В днешнем обстоянии от латинян? — уточнил он вопрос.— Алексий понимает, конечно, что Ольгерду нельзя позволить создать особую литовскую митрополию. Тогда погибнет православие, поглощенное Римом, а с ним погибнут истинные заветы Христа. Возможно, потому Алексий и приемлет Киприана?»

Когда расходились, Киприан чуял себя так, будто бы выдержал ответственный экзамен или победил в диспуте, и даже несколько свысока поглядывал на престарелого русского митрополита, не догадывая, что русичи давно уже раскусили его. Федор же Симоновский, выходя следом за болгарином, оборотил вопрошающий взор к Сергию, и наставник ответил ему, слегка приподняв и опустивши ресницы.

— Мыслишь,— спрашивал Федор вечером, когда они остались одни,— сей Киприан восхощет низложити владыку Алексия?

— Мыслю тако! — вздыхая, отозвался Сергий.— Однако он стоек в православии! И что содеяти в днешнем обстоянии, когда церковь наша еще не укрепилась пустынностроителями и не окрепла духовно,— не приложу ума!

Оба опустились на колени перед божницею и замерли, моля Господа вновь и опять подать им силы в борьбе за победу добра.

Глава 51

На Москве пыль, жара, вонь, всяческая неподобь. Ветра нет, и в Кремнике не продохнуть. Но дума все-таки собралась. Из Орды прискакал с важными вестями Федор Кошка, а из Нижнего — тесть великого князя московского, Дмитрий Костянтиныч, самолично повестить об избиении мамаевых татар и попросить совета у зятя.

Душно. Бояре то и дело отирают обильно струящийся по лицам пот. В деревнях у них, у каждого, в разгаре скотий падеж, голодные мужики, умирают люди и кони... И все-таки тут собрались победители, не желающие уступать ни завоеванной нынешней власти, ни накопленного предками добра. Кошка похудел, видимо изнемог и замотался в Орде.

— Что надобно Мамаю?!

— А шут его ведает! — отзывается Федор Кошка, дернув плечом.— Нынче его Черкес вновь выбил из Сарая, дак злобствует, требует нового серебра!

— Хватит!

— Попил кровушки! — раздаются дружные голоса.

— Кабы год как год, а то моровая напасть, засуха, кони дохнут! С каких животов?!

— Как таковая пакость могла произойти? — вопросил осторожный Афинеев суздальского князя. Дмитрий Костянтиныч глянул надменно, но и великий князь Дмитрий тоже перевел взгляд на тестя, следовало отвечать. Голенастый сухой суздальский князь гневно дернулся:

— Денис! — высказал единым словом главное.— Смерды, вестимо... Голод, грабежи... А тут в соборе: «доколе», мол! — князь сердито отводит взгляд.

— Где посол? — вопросил, в очередь, Иван Мороз.

— Сарайка? Сидит с дружиною на воеводском дворе! — устало отзывается князь.— Я приставил охрану и корм выдаю.

— Сколько их? — поинтересовался Александр Всеволож.

— Да сотни... две наберется, ежели всех сосчитать! — неуверенно протянул Дмитрий Костянтиныч.

— А было?

— Полторы тысячи!

Бояре молча переглядываются. Кое-кто полез в затылок пятернею. Нижегородские смерды славно-таки поработали!

— А почто и вел эстолько! — высоким голосом возражает Григорий Пушка.— Узбековы времена похотел воротить! Ну, разорили бы несколько городов, народу побили! Того хотите, бояре?!

Ему не отвечают. Только Данило Феофаныч, в очередь, утирая красным тафтяным платом взопревший лоб, произносит спокойно:

— Такого Мамай не простит!

— Да и так-то...— поддержал Данилу Дмитрий

Зернов.— Послов ить побили! Нехорошо! Не по закону таковое творить!

— Смерды...— отозвался устало Дмитрий Костянтиныч.— Не сдержать было!

— Тамо таковое дело,— вновь заговорил Кошка.— В Хорезме сейчас подымает голову Тимур, сильнее его нынче никого нету; в Белой Орде Урус-хан, тоже воевода суровый. И тот и другой без нашей помочи живо Мамаю хребет переломят! И так уж все волжские грады истерял! Сидит на Дону, на вчерашних половецких кочевьях, от кафинской торговли да от нас токмо серебро и емлет. А все новым Батыем себя мнит! Требует даней, как при Чанибеке-царе, а на поди! А того в толк не берет, сколь ему уже за ярлык заплочено! Не поддержал бы Михайлу, не вверг нож в ны, дак и дань мочно бы дать по-старому!

Мужающий князь на престоле тут разлепил губы, сказал заносчиво (хотел спокойно и твердо, но не получилось).

— Прежней дани ему от нас не видать! Придет на Русь — встретим с оружием!

Бояре, многие, скоса глянули на своего князя. Редко досле размыкал уста, но владыки нет, и должен же князь когда-то начинать править?!

— С оружием...— протянул, покачавши головою, Матвей Бяконтов.— А где оно?

Окольничий, Тимофей Василич, сказал отрывисто:

— Рати не собраны! Надлежит помыслить путем! А токмо и уступать Мамаю не след!

— Не след, не след! — согласно закивали бояре. Князь Дмитрий обвел глазами хмурые боярские лица. Обижаться раздумал. Что бы он сам натворил, кабы еговую тысячу ратных ни за что ни про что истребили в степи?

— Кто там в Орде мутит?! — подал голос со своего места Иван Вельяминов. Дмитрий сумрачно глянул на него. Федор Кошка поднял голову, подумал, отмолвил кратко, единым речением:

— Фряги!

— Ентим чего надобно? — недовольно вопросил князь.

— К нашему северу руки тянут! — пояснил Кошка.— Меховой торг мыслят в свои руки забрать!

— Ежели пустить их...— произнес кто-то на дальней скамье.

— Пущай до того завоюют Москву! — взрывается Иван.— У нас един фрязин печорскую дань емлет, дак и то вскорости всю Печору до зубов обдерет! Пустим — станет Сурожский стан Галатою, а мы — обобранным Цареградом! Все серебро мимо нас прямиком в Кафу поплывет, а оттоле — в Геную! Я как тысяцкий первым не позволю того!

Грамоту злополучного фрязина Андрея подписывал князь Дмитрий. Не стоило б Ивану о том поминать! Князь глядит на него не мигая, потом закусывает губу и отворачивает пошедшее пятнами лицо. Федор глянул на князя и, сожалительно, на Ивана Вельяминова. Коли власть, дак уж власть! Неча тебе было, Иван, называть себя тысяцким при живом батьке, хоть ты и сотню раз прав! — подумалось ему.

— Меховой торг будет у нас, на Москве! — медленно произносит Дмитрий, справясь со своею яростью. Иван Вельяминов в этом случае был, разумеется, прав, и не стоило ему так уж гневать на него за смелое слово. Хоть и не тысяцкой он вовсе, а токмо сын при отце!

— Ну дак и што, пойдет походом на нас Мамай? — уточняет Иван Мороз, сжимая кулаки и плотнее усаживаясь на лавке.

— Покудова не пойдет! Силы нет! У них в степи тоже мор на скотину! — возражает Кошка.— А только дурак, дурак! Власти хочет, а друзей не видит своих! Фряги его и обведут, и выведут, а сказать — нéкак!

Общий вздох проходит по палате. Раз не возмог Кошка, кто иной возможет уговорить Мамая не наломать дров?

— Черкес, баешь, выбил его из Сарая? — вопросил опять Афинеев.

— Черкес! Мамаю прямая выгода при этой напасти держаться Москвы! Нам бы дал леготу, и свою голову, гляди, уберег!

— Дак станет ратиться?! — твердо вопрошает Иван Мороз.

— Когда-нито да станет! — ответствует Кошка, вздыхая.

— А побьем?!

Федор усмехнул, подумал, прищурил взгляд, будто поглядел куда-то туда, за леса, за реки, в далекую половецкую степь. Отозвался, помедлив:

— Бывáт, и побьем! Коли Ольгерд с Михайлой тою порой в спину нам не ударят!

И новая волна прошла по рядам преющих в духоте бояр московских, коснувшись и самого князя Дмитрия. Тверь оставалась главною зазнобой, и пока Михайло не согласил с грамотою, передающей великое княжение в руки Москве, все еще могло совершить во Владимирской Руси!

Глава 52

После кончины в сентябре старого тысяцкого Василия Васильевича Вельяминова разгорелся такой жаркий костер многоразличных котор, споров и боярской замятни, что великий князь порешил ничего не вершить без совета своего митрополита, а Алексий после похорон Вельяминова отправился объезжать митрополию и скоро быть в Переяславле не обещал. И это было именно так, что бы там ни толковали впоследствии. Ни в сентябре, ни даже в октябре великий князь Дмитрий еще не знал, не ведал своего решения, склоняясь даже к тому, чтобы выдать все-таки грамоту на звание тысяцкого нелюбимому им Ивану, дабы сохранить привычный распоряд московской земли.

И еще об одном надобно сказать сразу. Крестины второго сына великого князя Дмитрия были только внешним поводом княжеского сойма, подготавливавшегося задолго до родин и без всякой связи с последними. Так уж подошло, и так было пристойнее перед татарами. Праздник по случаю рождения княжеского сына — совсем не то, что съезд володетелей, готовых выставить в поле оружные рати. Вовсе и непохоже одно на другое, как там ни посмотри!

Евдокия Дмитриевна, великая княгиня московская, разрешилась от бремени двадцать шестого ноября, мальчиком. Сына назвали Юрием. Крестить младенца был вызван сам троицкий игумен, преподобный Сергий Радонежский.

Третьи роды — не первые. Дуня, слегка похудевшая, с голубыми тенями под глазами, и оттого особенно свежая и юная, уже хлопочет, все не может отстать от крестной, то одно поправит, то другое. В серебряной купели, поставленной у левого клироса, уже налита вода. Малыш бессмысленно таращит глазки, вертит головенкою, чмокает — верно, ищет грудь,— пробует голос. Сергий (он в простой рясе с подсученными рукавами) ловко и бережно берет младенца, и тот тотчас замирает, успокаивается у старца в руках и даже не пищит, только отфыркивает воду, когда его троекратно погружают в купель. «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа...»— кончено. Сергий помазывает маслом лобик, ладони рук и ножки дитяти, которому судьба готовит зело не простой жребий!

Волнуется толпа разряженных гостей. Сухой высокий Дмитрий Костянтиныч ублаготворен почетом. Он в первых рядах, он — старший среди князей, собравшихся на это не совсем семейное торжество. Ради него княжеская семья стеснилась в своих хоромах. Он приехал с братьями. Потишевший Борис предпочитает не ссориться с великим князем московским Дмитрием. В последней войне он обманул надежды Михайлы с Ольгердом. Младший сын Дмитрия Костянтиныча Семен тоже здесь. Нету только Василия Кирдяпы, с которым еще предстоит московскому князю долгая и мучительная пря. Нет, не все решено и уряжено даже с семейством князей суздальских, хоть и родичи они московского дома, а все-таки...

Гул, ропот, боярыни и бояре теснятся глянуть на княжеского сына. Город переполнен. Князья со свитами заняли все пригородные монастыри, набиты битком все мало-мальски пристойные городские хоромы. Поглядеть на такое собрание нарочитых мужей сбежался народ аж из Клещина и из Весок. В улицах, прямо на растоптанном копытами, залитом конской мочою снегу, торгуют рыбой, грибами, горячим сбитнем, медовухою, калачами, даже студнем, невзирая на Филиппов пост. Посадские жонки, поджимая губы, оценивают наряды наезжих боярынь, замечая всякую малейшую неисправу в дорогих уборах и узорочье. Сами вытащили лучшее свое, береженое. Не в редкость увидеть на иной бабе какие-нибудь колты работы владимирских мастеров позапрошлого столетия или парчовый коротель, крытый византийским аксамитом времен Комнинов. Красные и узорные, шерстяные и шелковые, тканые и плетеные кушаки, зипуны, вышитые по подолу, груди и нарукавьям цветными шерстями, круглые, тоже цветные, у кого и бархатом крытые шапки, лапти, плетенные в два цвета, чистые онучи, на иных посадских и сапоги. Коли сани, то непременно с резным задком, коли дуга, так крашеная, с наведенными вапою змеями, берегинями или львами в плетеном узоре. Сбруя — в медном, начищенном до блеска наборе, рукавицы у ямщика за широким поясом — каждая как сказочный цветок.

На Красной площади, перед теремами,— не протолкнуться. Тут — знать, тут уже иноземные шелка и сукна. Ежели меха, то непременно соболь, куница, бобер, или невесомая, из ласочьих шкурок, под китайским шелком шубейка на иной боярышне, или соболиный опашень с золотою оплечною цепью на князе (князь беден, опашень единственный и цепь, от прадеда доставшаяся, чудом уцелевшая, всего одна, но тут — вздета на плеча, не ударить лицом в грязь перед прочими!).

В теремах тоже яблоку негде упасть, снуют слуги. В хоромах великой княгини вокруг счастливой матери с дитятею целое столпотворение вавилонское. Ищут Дмитрия: куда-то запропастился великий князь, а скоро и выходить за столы!

И только там, в задней, на самом верху, с окошками на безбрежную даль озера, тишина. Укромную дверь покоя стерегут преданные холопы. Дмитрий ходит взволнованно по горнице, под тяжелыми шагами поскрипывают половицы. Старый митрополит сидит в кресле. Они одни. Нет, не изменил молодой великий князь своему наставнику! И Митяя здесь, слава Богу, нету, и нету бояр-наушников.

— Я не могу с ним! — кричит, срываясь, Дмитрий.— Дядя мне был в отца место! А Ивана половина бояр не хочет видеть своим тысяцким!

— Винят в гордости? — спрашивает Алексий.

— Хотя бы и так!

— Кем же ты мыслишь заменить Ивана Вельяминова?

Дмитрий останавливает с разбегу, будто бы налетев на забор.

— Мыслишь, владыко, будет то же самое, что и с Алексеем Хвостом?

— Сын еговый не просит у тебя батьково место? — чуть насмешливо вопрошает нарочитою простонародною речью Алексий. Дмитрий, краснея пятнами, отчаянно вертит головой: «Нет, нет!» Да и никто из бояр не решится в особину взять власть под Вельяминовским родом. Но Ивана меж тем не хотят, действительно, многие. Весь клан Акинфичей против него. Коломенские бояре тоже не хотят Ивана. Ни Редегины, ни даже Зерновы, ни тем паче Афинеев или Окатьевичи. Неслыханно богат и неслыханную власть над растущим столичным городом держит в своих руках тысяцкий града Москвы. И старый митрополит молчит, думает. Взглядывает иногда на бегающего перед ним по горнице молодого князя... Власть великого князя московского, как замыслил ее он, Алексий, должна быть единой и нераздельной. Опасно, ежели вельможа становится сильнее своего властителя! К худу или к добру нелюбовь Дмитрия к Ивану? От Алексия сейчас зависит решительное слово, и он, прикрывая глаза, думает. В самом деле, кому? Кому передать эту, становящуюся опасною, власть?

— Чего же и кого хочешь ты? — вопрошает Алексий. Дмитрий останавливает свой беспокойный бег по палате, молчит, бледнеет, поднимает глаза на духовного отца своего, говорит, словно бросаясь в воду или в сражение:

— Я не хочу никого!

Алексий глядит, думает. Наконец этот мальчик становится мужем? Единственно правильным решением может быть именно это...

— Ты хочешь отменить должность тысяцкого на Москве? — после долгого молчания вопрошает Алексий. И Дмитрий, сам пугаясь того, что было смутно у него в душе и что так ясно высказал сейчас Алексий, отвечает сперва неуверенно, а потом с яростною силой:

— Да... Да!!!

— Надобно повестить об этом синклиту и выборным на Москве! — строго и наставительно заключает Алексий.— Дабы передать дела купеческие и посадские по первости княжому дьяку, назначить своих мытников и вирников, а дружину тысяцкого подчинить твоим служилым боярам, дабы никто не пострадал и не разрушилось дело управления городом!

Дмитрий, не думавший ни о чем таком, тут только понимает, что отменить тысяцкого на Москве — зело не просто и потребует сугубых трудов и что вновь и опять без Алексиевой заступы и обороны ему с этим делом не совладать. Он благодарно, но и ревниво взирает исподлобья на Алексия, ведь и съезд князей, долженствующий подтвердить непререкаемую власть великого князя московского, организовал именно он, Алексий, для того и объезжал епархии.

— Мыслю, разумно будет объявить об отмене тысяцкого после того, как собранные князья принесут присягу быти всем заедино и не изменять впредь престолу и воле великого князя московского! Иван много старался о том, дабы помочь мне совокупить нынешнее единство володетелей, и не надобно его огорчать излиха отменою власти именно теперь!

Дмитрий молча кивает. Он уже понимает многое, но еще не научился ждать и терпеть. Ему бы хотелось решенное решить сразу. Но он слушается своего владыки, и в этом его днешнем послушании — спасение страны.

Глава 53

Неведомо, длился ли съезд князей целых четыре с лишним месяца, от ноября до конца марта, или, что вернее, пожалуй, на крестинах княжеского сына было только решено устроить съезд, сойм, невдолге, пригласивши князей с их дружинами, ибо подпирали дела ордынские, опасила Литва, не казался да и не был надежен мир с Михаилом... И какие речи велись на том, последующем, княжеском сойме? О чем глаголал митрополит Алексий главам Владимирской земли?

О том, что надобно совокупное дружество, что нужен закон и что надобен единый глава, и глава этот — московский великий князь, признанный ханским ярлыком наследственным володетелем владимирского великого княжения?

О том, что шатание ни до чего хорошего не доведет страну, испытавшую нашествие Ольгерда, что ежели бы не народ, не земля, вставшая за Москву,— неведомо, что и створилось бы на Руси?

Что Мамай возможет и вновь поссориться с Русью, и что пора остановить татар такожде, как и Литву, такожде, как и католиков, жаждущих изгубить православие. Что надобно не стоять в стороне, как стояли доднесь князья многих владимирских уделов, а помогать великому князю в любой беде, отколе бы она ни исходила, и что великий князь волен карать ослушников, иначе не стоять Руси! И что надобно собирать ратных, готовить полки, дабы не оказаться вновь нежданно побитыми не Ордой, так Ольгердом?..

Еще далеко не всем была ясна законность Москвы и незаконность тверского княжеского дома, права коего на великий стол были отнюдь не меньше московских.

Или прежде всего иерарх всей Владимирской земли владыка Алексий должен был говорить о вопросах веры, тем паче что обращался он к верующим. И говорил в пору великого обстояния. Мусульмане — с юга. С запада — католики. Посланец патриарха, Киприан, сейчас в Литве и, возможно, роет под него, Алексия, кумится с литовскими князьями в надежде сохранить эту страну за греческим патриаршим престолом. Единственный, кто мог и должен бы был явиться другом Руси — Мамай, становится ее ворогом, и послы его днесь сидят в заключении в Нижнем Новгороде, не ведая еще участи своей. И что станет с землей и с верою православной, ежели толикое количество врагов разом обрушит на Русь?

Мы только можем догадываться, о чем мог говорить Алексий на княжеском сойме тем, от чьей совокупной воли зависела тогдашняя судьба нашей страны, вернее, что должен был он сказать как глава церкви и духовный наставник народа, который оказывался в эти трагические десятилетия гибели Византии и близкого завоевания турками Балканских государств единственным защитником православия, единственным народом, языком, где вера соединялась и объединялась с государственностью, а не противополагалась ей, как это было в Литве, и церковь не оказывалась в подчинении иноверцев, как это стало на землях растущей Турецкой империи.

Он должен был, прежде всего, поднять голос в защиту православия, в защиту соборности церкви (а не ступенчатого подчинения католическому Риму), когда высшим органом церкви является она сама, всею совокупностью своих членов (принцип этот на Руси в послениконовскую эпоху был сохранен одними староверами). Он должен был говорить о свободе воли, данной или, точнее, объявленной, принесенной в мир воплощенным Словом — Логосом четырнадцать веков назад.

Две, только две истины существуют в мире со дня нагорной проповеди Спасителя! Существуют и борются друг с другом. Истина предопределения и истина свободы воли.

Одна, прежняя, ветхозаветная, как раз и отброшенная Учителем, гласит: есть, мол, избранный народ, есть заповеди, которые надобно токмо соблюдать, дабы не утерять избранничества своего, и есть предназначенность: «Каждый волос человека сосчитан еще до его рождения». Предназначенность, определяемая в течение столетий бытием ли, имуществом, «собиною», правами ли граждан, господним промыслом, природою ли живого, мыслящего существа, «прогрессом» наконец,— но всегда остающаяся предназначенностью, предопреде-

ленностью, при которой ничто существенно не можно, да и не должно изменять, предоставив миру течь по начертанному пути, подчиняясь свыше данным законам. И тогда нет, по существу, ни морали, ни понятий зла и добра, ни ответственности смертных друг перед другом и перед Господом, нет ни воли, ни безволия... Есть закон. Тот самый мертвый закон, о котором первый русский иерарх, митрополит Илларион, говорил в первой дошедшей до нас русской проповеди «Слове о законе и благодати», произведении, означившем всю дальнейшую направленность исторической мысли России.

Сперва приходит закон, но он мертв, а потом, после — благодать, и она дает жизнь, ибо живо лишь то, что принято сердцем и доброю волей по закону вселенской любви. И ежели верно то, что закон приходит сперва, то верно и другое, что истинная жизнь, жизнь во Христе, наступает с приятием благодати.

И тут вот, с воплощением Логоса, с пришествием Христа, рождается вторая, конечная истина, истина веры Христовой, истина православия. И истиной этою является свобода воли.

— Да, смертный — смертен! Да, есть воздаяние за грехи. Но, братие! Господь, воскресивший ны и страдавший ради нас на кресте, заповедал нам то, чего не было сказано и не могло быть сказано в иудейском законе,— что мы свободны в своем выборе и наши заботы, радости и огорчения сотворены нами, а не зависят от чьего-то стороннего замысла. Создав нас, Господь сознательно ограничил себя, воспретив себе вмешиваться в наши устремления и поступки. И только слезы, только скорбь Спасителя отданы нам, согрешающим! Мы же, волею своею, возможем как достинуть царства Божия, так и снизойти во ад! И сотворенное нами зло, как и добро, как и все дела наши являются здесь, на земле. Не надо мыслить, согрешая, что где-то там наступит прощение грехов! Созданное греховно само обрушивает грозною силою воздаяния на главу грешничю! Истреби землю, на коей живешь, иссуши ниву, которую пашешь, отрави источники вод — и сам ты погибнешь, сотворивый своими руками погибель свою!

Тот из нас, кто не пришел на помощь брату своему старейшему в грозные дни минувшей войны, избежал ли тем грабительства проходящих сквозь его землю литовских ратей? Избежит ли гибели, ежели и вся земля падет перстью и достанется в снедь иноверным?

Точно так, как надобно сберечь семенное зерно, взрыхлить пашню, засеять, а вырастив урожай, сжать его и уложить в житницы, точно так надобно готовить почву народа своего: разрыхлить ниву словом истины, посеять семена добра и любви к ближнему своему, извергнуть плевелы зависти, злобы, неверия и нелюбия, вырастить и оберечь от гибели урожай новых поколений, в коем будут сохранены и приумножены наши заветы и предания старины, и воля, и вера, и верность, и русская государственность, которая ныне требует единого главы, дабы народ наш сумел противустать иноверным и не обратился перстью дорог, не был развеян Господом, подобно древним иудеям, согрешившим противу Него!

И не соблазняйтесь прелестию латинскою, понеже оные, устами Августина Блаженного и паки, в борьбе с Пелагием, начали утверждать предопределенность свыше одних людей добру и других — злу, предопределенность, перенятую ими от манихеев и от Ветхого завета! Помыслите, какой соблазн открывается при сём утверждении, отметающем заветы Христа! Целые народы, вопреки слову Учителя, возможно объявить подлежащими гибели по предопределению свыше!

Уже сейчас католики утверждают, что православные — хуже бесермен, так каковую хулу вознесут на вас, ежели обадят вас лестию и заставят поклонитися римскому престолу! Меньшими из меньших на земли станете вы, и гордость ваша, и слава, и заветы отни будут низринуты в прах! Мню, скоро и в Литве возобладают католики! Вы, и токмо вы ныне — защитники истинных заветов Христовых на земли! Вам говорю я, русичи! По слову Спасителя вашего, вы вольны в выборе пути и поступков своих! Но помните, опасную власть и грозную волю даровал вам Господь! Он уже не вмешается, дабы остановить вас, неразумных, на краю бездны, забывших заветы старины! Он уже не подхватит вас, маловеров, над пропастью, изготовленною вашими же руками!

Вы вольны погубить себя и землю ваших отцов, и сейчас, когда я говорю вам это, быть может, наступает самый грозный час русской судьбы! Отрекитесь от гнева и зависти, от любованья собою и от хитрого величания перед ближним своим, братом твоим во Христе! Отрекитесь! К отречению зову я вас, ибо секира уже положена у корня дерева и земля, позабывшая заветы Христа, обречена гибели!

Воззрите! Чудеса совершаются в храмах стольного града Москвы, прозрения и излеченья болящих у гроба святого митрополита Петра, и прочая многая! Господь знаменьями призывает и остерегает ны, показуя вид крови в небесных знамениях в годину взаимной резни! Не погубите себя, православные, не поддайтесь прелести, помните о той вечной жизни, которую теряет возжелавший всех, без изъятия, утех земного бытия! И не ждите, что вас спасут, ежели вы не спасетесь сами! Господь укрепляет в трудах, но не вершит труды взамен смертного! Токмо тот спасен, кто крайние, до предела, усилия всего своего естества прилагает к деянию! Яко земледелец на пашне, для коего нет ни ночи, ни дня, ни предела сил, пока он не собрал урожай с поля своего, и так — каждогодно! Вот пример для вас! Не иноки, не святые отцы — хотя и они тоже являют высокий пример служения ближнему своему,— но смерды, простые пахари вашей земли! Пахарь, оратай, тот, кто кормит вас и кто един не возжелал в эти горестные годы отринуть власть государя московского! К братскому единению призываю я вас! К осознанью того, что токмо в ваших руках спасение русской земли и заветов Христовых!

Так или приблизительно так должен был говорить митрополит Алексий, может быть, совсем не называя Твери и тверского князя, с коим был только что заключен мир и с коего он сам снял наложенное прежде проклятие.

Но слово пастыря должно было доходить до сердец, и тут мое перо, перо летописца поздних времен, бессильно, ибо неведомы мне те глаголы, коими прони-

зал души современников своих митрополит Алексий.

Во всяком случае, в новой замятне, поднявшейся, как заключительный страшный вал жестокой многолетней бури, владимирские князья выступили соборно на стороне и по призыву Дмитрия «все за един».

А теперь снова вернемся к тому, что едва не погубило страну, послуживши истоком событий и бедствий, нашедших свое завершение лишь через два десятка лет.

Глава 54

Посланец хана Черкеса, недавно захватившего вновь Сарай, столицу бывшей Золотой Орды, подкупил и уговорил Василия Кирдяпу, старшего сына нижегородского князя Дмитрия Костянтиныча, содеять злое — схватить Сарайку, разоружить всех татар и посадить в узилища — «розно развести», дабы насмерть поссорить Мамая с Дмитрием.

За месяцы сидения в Нижнем Сарайка не только добре выучил русскую речь, но и узнал, кто был вдохновителем нятья послов и истребления мамаевой «тысячи». Когда пришел приказ Василия разоружить и розно развести захваченных татар, Сарайка не стал медлить, ждать, когда ему, безоружному, перережут горло. Татары, как один, взялись за сабли и после короткой кровавой сшибки, опрокинув княжескую сторожу, не сожидавшую столь дружного отпора, рванулись за ворота воеводского двора.

Гнев? Отчаяние? Мужество? Или жажда мести? Или желание дорого продать свою жизнь руководили Сарайкой и его татарами в этот последний час, но, вырвавшись из укрепа, повел он своих дружинников не куда-то, а к епископскому двору.

Завязалась кровавая, дикая, непредставимая, ежели не увидеть того воочью, резня. Вой, визг и рев вздымались под небеса, бабы, замешавшиеся в толпу, цепляя за платье, за волосы, дергали татар, валили на землю, сами валились, разрубленные саблями. Ратники рубились отчаянно, спасая безоружный, ополоумевший народ, страшно лязгала сталь, кровь пятнала снег, отступающие татары отстреливались, горожане, падая трупьем, рвались вперед и голыми руками вырывали луки и копья из рук ордынцев. Наконец во двор ворвался конный отряд княжой сторожи, грудью коней расшвыривая толпу, обрушились, рубя и топча, на последних отбивающихся татаринов. И тут епископ Дионисий с крестом в руках взошел на обрушенное, обгорелое крыльцо, и почти уже схваченный Сарайка с визгом, перекрывшим мгновением шум на площади, выстрелил из лука в епископа, отмщая убийце своему. Стрела пронзила епископскую мантию, не задев тела. В следующий миг его сбили с ног. Последних татар рубили в куски, как капусту. Вопли гасли. Опомнившаяся толпа и княжеские ратники кинулись гасить подожженные татарами владычные хоромы.

Василий Кирдяпа плохую услугу оказал родителю своему. Весною Мамай набегом пограбил Киш, где был убит героически защищавший острог боярин Парфений Федорыч, и разорил все Запьянье — пожег хоромы, порубил и посек людей, оставших в живых уведя в полон. Для большого набега на Русь у него пока не хватало сил, и только потому Дмитрий с Мамаем не столкнулись на пять лет ранее Куликова поля (и с исходом, не ясным ни для кого).

Но в дело давно уже вмешалась третья сила, которую проглядели почти все историки, сведя события 1375 года к личной обиде русского боярина и авантюре сурожского гостя,— то есть к заговору всего двух человек, вознамерившихся вдвоем (!) обрушить московский престол, чего, заранее, быть не могло ни при каких обстоятельствах.

Глава 55

Народ на подъеме очень трудно завоевать, трудно подчинить духовно. Государство в стадии надлома или же обскурации само, как червивое яблоко с дерева, падает к ногам победителя. Истина эта хоть и проста, но до сих пор неведома ни политикам, ни завоевателям, способным сосчитать количество пушек, ружей, наличных полков, но вовсе не понимающим, почему возможен почти мгновенный успех при незначительных усилиях и почему в, казалось бы, сходной ситуации вооруженная до зубов армия терпит постыдные поражения. Не ведали этого и генуэзские купцы вместе с легатами папского престола во второй половине славного четырнадцатого столетия, которые по состоянию Византии и по своим тамошним успехам судили о возможностях Владимирской Руси. Да и как было не ошибиться людям, флот которых без всякого серьезного сопротивления взял и разграбил Гераклею, второй по значению город-крепость византийцев на Мраморном море? Которые отстояли Галату от всех ромейских армий, дважды уничтожали греческий флот, построенный Кантакузином? Перевели в Галату пять шестых константинопольского торгового оборота?! Наконец прогнали самого Кантакузина, для чего оказалось достаточно генуэзскому пирату доставить морем в Константинополь молодого Иоанна Палеолога! При этом генуэзцы ухитрились одновременно выдержать тяжелую войну со своим торговым соперником Венецией за обладание колониями той же умирающей Византии, забрав за десять лет до описываемых событий в свои руки Кафу и другие порты на Черном море. Сумели сделаться первыми советниками и торговыми агентами Мамая, а теперь протягивали руки к богатствам русского Севера, где надобно было только сокрушить упрямство московских «басилевсов», убрать второго Кантакузина, дабы полною мерой запустить длани в безмерные сокровища северных стран... Как было не ошибиться, в самом-то деле! Как было не поверить удаче, когда со всех сторон уже обложили этот упрямый кусочек земли между Окою и Волгой, меж тем как в Литве вот-вот должны были победить люди католического вероисповедания, а Палеолог уже подписал унию, отдающую православную Византию во власть римского престола!

Как было, в самом деле, не поверить, что и тут все возможно легко изменить, стоит только слегка подтолкнуть одного и так же слегка, играючи, помочь другому... А тех сил, которые растут и крепнут внутри общественной системы, их попросту до времени не ви-

дать, и лишь чуткий взор художника может ощутить, почуять неведомое, незримое ни политику, ни даже торговому гостю, ибо взгляд человека видит сущее, но не то, что может из него произрасти в потоке времен.

Только так можно понять и постичь поступок сурожского купца Некомата, богатого гостя и землевладельца, имевшего села под Москвой и рискнувшего всем ради иллюзорной, как оказалось, выгоды, а восемь лет спустя схваченного и казненного на Москве.

Не то следовало выяснять, кем был Некомат: греком, генуэзцем или восточным купцом, католиком или несторианином. А то, кто же стоял за его спиною. Какие силы подвигнули этого Некомата — «бреха», по выражению московского летописца,— затеять и совершить то, что затеял и совершил он, как оказалось потом, на свою собственную гибель.

А потому воротимся в степь, где Мамай рвет и мечет, получив сведения о гибели своей тысячи и пленении послов (убийство Сарайки, еще не совершенное, послужит последнею каплей, и потому возможно подозревать, что все нити тут были связаны воедино и поступок Кирдяпы был заранее взвешен на тех же тайных весах), и давно уже плетется незримая сеть, в которой отсутствовало до сих пор одно лишь необходимое звено: согласие владыки Орды на борьбу с великим князем владимирским.

От великой Орды, от властительного темника Мамая зависело в конце концов, кого поставить князем в русской земле! Так казалось, так было, так думали и считали многие, ежели не все. А значит, надобно было подвигнуть Мамая к борьбе с упрямым Дмитрием и его стариком митрополитом, каковой единственно препятствует делу крещения Руси по католическому обряду и даже, помогая русским серебром византийцам, препятствует распространению унии в империи... Токмо подтолкнуть, а далее — само пойдет!

Работают торговые конторы, едут клирики и скачут гонцы, плетутся соглашения и подкупы, выстраивается великий торговый путь: из Кафы в ордынские волжские города, затем в Рязань, Москву, Нижний, Кострому, Тверь, Великий Новгород... Ежели бы возможно было обратить эту землю в источник дешевого сырья,— мечтают фряжские, всех мастей, гости,— вывозить отсюда меха, воск, сало, лен, лес, рыбу, серебро, содеять эту страну колонией Запада! Для сего, повторяют настойчиво прелаты, надобно подчинить землю Руссии власти римского престола, приобщить славян культуре Запада. Распространить здесь католичество, европейские законы, обычаи и нравы, дабы отнять у русичей всякую волю к сопротивлению... И содеять это так просто!

За спиною сурожского гостя Нико Маттеи, «Некомата-бреха», стояла вся тогдашняя католическая Европа, деловая, жадная и жестокая, которая скоро подчинит Америку и начнет победный марш завоевателей по всему миру, неся просвещение пушек, водки, сифилиса, оспы, рабства и угнетения всем нациям и народам земли.

За спиною! Но выполнить первое из потребных деяний должен был он. Скажем точнее — обязан был выполнить! У него не оставалось иного выбора. Отказавшись, он наверняка рисковал всем, включая собственную жизнь.

А теперь добавим только, что соглашение с Мамаем состоялось, что, возможно, и действия Василия Кирдяпы были подготовлены или учитывались той тайною третьею силою, которая решила повернуть по-своему историю Владимирской земли, не ведая, что такое Русь, не понимая, что это совсем не усталая, потерявшая веру в себя и отвыкшая драться Византия, граждан которой не надобно было даже науськивать друг на друга — сами готовы были изничтожить ближнего своего!

Глава 56

Иван Вельяминов, получив вести о том, что должность тысяцкого упраздняется, заперся ото всех, предоставив течение дел княжеским дьякам. В нем медленно изгибали, перегнивая и отравляя мозг ненавистью, его гордость, его вера, весь смысл его бытия, ибо уже далеко не первый год он не только считал себя, но и был тысяцким града Московского, и глядеть теперь в эти ждущие лица, угадывать за показною скорбью тайные насмешки, встречать жалость там, где привык видеть почтение и страх, глядеть в глаза вчерашним послужильцам, старостам, вирникам, мытникам, сбирам, ключникам и каждому объяснять, что он нынче никто и они уже не связаны с ним тысячью нерасторжимых уз, обязанностей и приятельств,— лучше бы Дмитрий назначил иного на его место! Было бы кого ненавидеть, было бы кого убить, ежели не стихнет душа!

Все родственники, дядья и братья, пытавшиеся уговаривать, убеждавшие претерпеть, заняться иным делом,— отступились. Неслыханно богатый наследник мог себе позволить решительно все. Не было среди утех земных ничего, что, возжелав, не смог бы он получить. И токмо одного, единственно надобного ему, был он лишен — власти!

А без власти все иное не занимало Ивана. Он сидел и думал. И в воспаленной голове рождались чудовищные образы, рушились и возникали миры... Он только что помогал князю Дмитрию совокуплять землю, организовывал съезд князей, и вот стал ненужен, ненадобен! Что он теперь? Что делать ему? Драться Святками на кулаках со смердами на льду Москвы-реки? Бешено гонять в ковровых санях с колокольцами, загоняя кровных рысаков? Собирать редкости, из иных земель привезенные? Что все это было ему, приученному и привыкшему к деянию!

Он сидел один, с омерзением оглядывая роскошь покоя, бесценные ковры, серебро и фарфор, резную кость и драгоценные сосуды... Даже иконы, способные потрясти знатока, не рождали в нем высокого чувства отречения. Только большой белый хорт, разлегшийся у ног господина, порою преданно заглядывавший в его отуманенные глаза, только он еще вызывал рассеянное снисходительное внимание Ивана Вельяминова. Жена и сын боялись к нему заходить.

В эти-то черные дни и объявился в вельяминовских хоромах Некомат-брех, пробившийся сквозь заплот при-

дверников и холопов, коим велено было никого не допускать к господину.

Скрипнула дверь. Иван поднял холодные, усталые глаза.

— А! — Бессильно опущенная его рука ласкала голову собаки.

Купец поклонился по-русски, в пояс.

— Чего тебе, Некомат? — вопросил Иван с ленивою тоскою в голосе.— Я же велел...

— Ведаю, ведаю! — живо подхватил черноглазый посетитель и, запахивая зипун, остро взглядывая на поверженного московского вельможу, уселся, повинуясь знаку Вельяминова, на краешек перекидной узорной скамьи.

— Однако в нынешней горести могу предложить господину... Ведаю! — вскричал он, предупреждая нетерпеливое движение Ивана.— Пото и пришел, потому и пришел! Горести тысяцкого Москвы — наши горести! — Некомат подчеркнул голосом слово «наши».— Несправедливость от князя все равно является несправедливостью и должна быть наказана! Во всех землях удивлены таковым решением великого князя Дмитрия! Купцы недоумевают, полагая, что совершенное совершено единственно из скупости и что князь завидовал доходам и славе своего тысяцкого!

— Что ж, и в Орде...— начал Иван.

— В Орде Ивана Васильевича Вельяминова продолжают почитать московским тысяцким! Такожде, мню, и в Твери, поелику для всех имя Вельяминовых — великое имя! Глаголют, единственно вами держался московский князь!

Иван оборотил к настырному сурожанину свой хладный, запредельный взгляд. «Мы же и поставили!» — едва не сорвалось с языка. Чего-то он хочет, около чего-то вертит, этот пронырливый фрязин! И уже в омертвелой душе Ивана возникло тревожное любопытство: какой корысти добивается он теперь от меня, утерявшего славу, и власть, и все права, от коих недавно еще зависели судьбы сурожской торговли на Москве и во всех областях великого княжения Московского? Почему не идет к дьяку, к боярам, перенявшим его, вельяминовские, заботы? Но на прямой этот вопрос, заданный Иваном, Некомат отчаянно замотал головой:

— Ты! Только ты! Ты один! Тебе верим! Боле никому! Мы, гости торговые, посад, ратники — все!

— И главный кафинский бальи, по-видимому? Или как он там у вас прозывается? Поздно! Опоздали! Я теперь ничего не могу!

— Ты не можешь?! — Некомат округло вытаращил глаза.— Ты все можешь! Тебе верят! За тобой пойдут! И мы поддержим тебя!

— А вы-то с чего? Вам-то чего от нас надобно? — вопросил Иван с ленивой усмешкой.— Меховой торг, поди? Да еще — московитов в католическую веру перегнать! — Он рассмеялся невесело и отворотился к окну. Когда-то он сам настаивал на том, чтобы фрягов далее Москвы не пускали. Теперь все это было бесконечно далеко от него.

— Слушай! — Некомат склонился к нему, вытянул шею. Зашептал страстно: — Я знаю, слыхал, твой прадед не восхотел поставить над Москвой великого князя Михаила Ярославича Тверского! Ты теперь не жалеешь о том? Не мнишь, что тверские государи были бы заботнее о слугах своих?

— Измену предлагаешь ты мне? — вопросил Иван.

— Зачем измену, почему измену?! Тверской князь — русский князь! Свой! Гляди, ежели бы ему помогли — только помогли! — он, а не Дмитрий был бы великим князем, а ты — тысяцким при нем!

— А вы бы получили право закупать меха на Севере?

— Зачем меха, почему меха?! Мы бы получили право торговать, не платя пошлины двум государям, токмо одному!

— Поздно! — ответил Иван, пресекая дальнейший разговор.

— Совсем не поздно, боярин! — возразил Некомат и, еще понизив голос до шепота, заговорил: — Орда ждет, Мамай ждет! Дадут ярлык Михаилу, сразу дадут! Наши люди сговорили хана! Тебе только поднять народ, захватить Москву! Тебе верят, за тобою пойдут!

Иван дернулся было, но Некомат опять не дал ему возразить:

— Ну, не пойдут, теперь не пойдут! Но ежели война и ежели ты вступишь в Москву с войсками тверского князя? И будет единая Русь?! Великая Русь! Какие меха, какие католики?! Будет единая Владимирская земля! С тверским князем! С дружественною Литвой! С союзным Мамаем! Без войн! Зачем это нам, нам зачем, спрашиваешь? Нам не сговорить с князем Дмитрием! Он и владыка Алексий мешают нашей торговле, они снова вызовут войну, а когда война, первыми грабят купцов! И уж тогда некуда везти товар да и незачем! Товар отберут по дороге! А ты будешь по-прежнему тысяцким! Все твои соперники умрут, друзья — останутся. Ты будешь спаситель страны! И тебе поверят, тебя любят, тебя знают и примут тебя как друга, как истинного господина своего! Решись, боярин! Другого такого случая не будет уже!

Выгнать бы Ивану Некомата, спустить с лестницы! И зачем, почему вопросил он опять: почто надобен именно он? Зачем выслушал заверения, что без него, именно без него, никакое дело не сделается ни на Москве, ни на Руси Великой!

Гордость — самый тяжкий из семи смертных грехов, которыми грешит человечество.

Ни Некомат, ни тем паче Иван Вельяминов не верили тому, во что верили хозяева Некомата, столь легко захватившие Константинополь. Поднять народ противу законного князя на Москве нечего было и думать. Счеты — счетами, взаимное нелюбие — нелюбием, вплоть и даже до убийства, но токмо — за общее дело, а чтобы призвать народ изменить своему князю ради чужого, пусть и тверского, находника! Не Византия! Не Царьград. Века спустя и то не смогли помыслить такого русичи. И потому оставалось надеяться токмо на победу Михайлы в бою, на смену власти, на то, что поверженная Москва подчинится новому великому князю владимирскому, и вот тогда-то...

Что творилось в душе Ивана, что творилось в душе домочадцев его: жены, сына Федора, снохи? Ну, внук,

двухлетний малыш, не в счет. О чем думали домочадцы, не пожелавшие покинуть господина своего в толикой беде, и о чем — дружинники, домашний поп, лекарь и книгочей, после долгих мук и размышлений решившиеся ехать с Вельяминовым?

Рассорившийся с родичами Иван никого из них не поставил в известность о своем предполагаемом бегстве. Право отъезда слуг вольных, древнее боярское право, требовало прилюдного, перед лицом князя, отказа от службы. Иван Вельяминов, бежавший из Москвы вкупе с Некоматом о Великом Заговенье, отказную грамоту великому князю послал только лишь из Твери, то есть бежал и как беглый подлежал княжому суду.

Скорые на расправу, почасту встречавшие смерть лицом к лицу в бою ли, на путях ли торговых, предки наши были более нас чувствительны к соблюдению законности. Без палача никто, например, не брался совершить казнь преступника. Без судоговорения не позволялось никому, ниже́ самому князю, казнить или предавать опале ослушников, и потому все случаи отступления от этого правила тщательно и укоризненно отмечались летописью. Иван имел право отъезда, хотя и нарушил правило отказа боярина от службы князю своему. И в том, что обиженный князем Вельяминов покинул Москву, не зрели греха и не винили Ивана даже его прямые супротивники.

Дальнейшие события развертывались с предельно возможною для тех времен быстротою.

Вот расчет времени по летописным известиям. Пасха в 1375 году была 22 апреля (по старому стилю). На Великое Заговенье, то есть за два месяца до Пасхи (приблизительно 25 февраля), Иван Вельяминов с Некоматом бегут в Тверь, надо полагать, после предварительных тайных пересылов с тверским князем.

Владимирские князья в это время, по-видимому, на съезде. Убийство Сарайки совершается еще месяц спустя, 31 марта. (Известие о чем должен был получить Мамай не позднее, чем через две недели, то есть к середине апреля, после чего он где-то в начале мая и совершил набег на Киш и Запьянье.) Но еще до того, на Федоровой неделе, в начале марта, Иван с Некоматом отправляются в Орду. Значит, Вельяминов пробыл в Твери всего около двух недель, успев, впрочем, получить поместья недалеко от Торжка[1] (причем одна из данных ему деревень так и называлась Тысяцкое, то есть его звание, не полученное в Москве, признавалось тверским князем!), как-то, на первый случай, обиходить их, оставив на месте семью и сына, а сам с ближними слугами поскакал в Орду, где тоже считался тысяцким. Высокое звание и тут сохранилось за ним.

Князь Михаил отправлял их, не сомневаясь в успехе, ибо генуэзцы, жившие в Твери и связанные со своими соотечественниками, уверяли Михаила, что ярлык он получит, как и помощь Мамаеву, обязательно. И уверили настолько твердо, что он тут же, не сожидая иных вестей, всего через полторы недели, на Средокрестии (четвертая неделя поста, конец марта, тогда же, напомним, 31-го, был убит и Сарайка!), устремился в Литву за помощью, откуда возвратился «очень быстро» (вряд ли быстрее, однако, чем к концу мая). И уже 13 июля (13 или 14-го), через четыре месяца после отъезда в Орду, Некомат возвращается от Мамая с татарским послом Ачиходжою и ярлыком, выданным великому князю тверскому Михаилу на великое владимирское княжение. Иван Вельяминов в ту пору продолжал оставаться в Орде.

Глава 57

Что должен был подумать, почувствовать Михаил, когда на его дворе ржали московские кони и высокий красавец Иван Васильевич Вельяминов в распахнутой цареградской ферязи всходил по ступеням крыльца? Они обнялись. Да, тысяцкий на Москве был лицом, равным любому князю Владимирской земли! Сурожский гость Некомат вертелся около, как рыбак, уловивший столь крупную рыбину, что не втащить и в лодку, и боящийся ее упустить.

— К тебе, князь! — просто сказал Вельяминов, когда они уселись друг против друга наверху, в княжеском тереме.— С Дмитрием не могу больше! И этот,— он кивнул пренебрежительно куда-то вбок, разумея фрязина Некомата,— обещает и ярлык добыть от Мамая и прочее все, о чем писалось в грамоте, словом — златые горы! А я хочу, чтобы ты стал великим князем Владимирской земли! Наш род утвердил Даниловичей на престоле, наш род должен их и убрать, изженить! Тверь правее!

Иван умолк. Сказанные слова трудно дались ему, но это были слова правды. Он так думал теперь. Потому и прискакал к Михаилу.

Князь встал, задумчиво сделал несколько шагов по горнице.

«А помыслил ли ты о том, Иван Вельяминов,— молча спросил себя князь,— что я уже отрекся от искуса власти и теперь могу не захотеть возжелать ее вновь?!» Он глядел вниз, во двор, сквозь цветную разрисованную узорами слюду и думал. Наконец поднял помолодевший, обреченный взор:

— Спасибо, Иван! — сказал.— Я принимаю тебя и... твой совет принимаю тоже! Зови своего фрязина!

Разговор не был окончен на Некомате. В ближайшие дни явились кафинские гости со своим старшиною, явился неведомо чей посол из земель заладных, не представлявшийся Михаилу дотоле. Еще через неделю сидели с боярами. Дело затевалось немалое, и Михайле надобно было знать мнение всей земли.

Фрязины клялись, что ярлык получат без обмана и что Мамай отныне не покинет тверского князя в беде. Неведомый гость намекал, что и с Ольгердом сговорено и что патриарший посланец Киприан не воспретит рати на князя Дмитрия. Генуэзские фряги обещали заемное серебро и оружие.

---

[1] О поместьях Ивана, группе деревень с характерными названиями, расположенных западнее Торжка, в новгородско-тверском приграничье, сообщил мне разыскавший их прямой потомок в 22-м колене московского тысяцкого Протасия (от его младшего правнука Юрия Грунки) Борис Александрович Воронцов-Вельяминов, известный советский ученый, астроном, коему я и приношу здесь сердечную благодарность за целый ряд сведений, касающихся рода Вельяминовых.

Михайло ярился в душе. Год назад вся эта помочь могла бы позволить ему захватить владимирский стол и удержаться на нем! Теперь приходит вновь брать отданные по миру города, вновь собирать распущенные было рати...

Мнение боярское выразил Григорий Садык:

— Княже! Соглашайся, покудова есть заступа! Нам или досягнуть великого стола, или уж самим с повинною явиться к московскому князю!

Когда уже все и тайное и явное было решено и утверждено, на Федоровой неделе, как сказано, Иван Вельяминов с Некоматом отправились в Орду, а сам Михаил, спустя малое число дней, на Средокрестной неделе, поскакал к шурину, великому князю Ольгерду.

Кое-где, на присохших полянах, уже пахали. Сын, провожавший Михаила верхом, обнимая отца на расставании, заботно и тревожно спросил:

— Одолеем, батя?

— Не ведаю! — честно отмолвил ему Михаил.— Ежели фряги с Мамаем да Ольгерд помогут нам вовремя...

Таким и запомнил в тот раз отца княжич Иван: заботным, пасмурным и — решившимся вновь идти до конца. Охолодало. По небу быстро бежали торопливые дымные облака. Дул ветер, ледяной ветер новой весны. Глаза отца прояснели синью. Он махнул рукою и поскакал, уже не оборачиваясь назад.

Глава 58

На второй неделе поста заболел Сергий, игумен Радонежский. Заболел, наверно, впервые в жизни и потому очень тяжело.

Он не велел никого извещать о своей болезни, сперва перемогался, ходил в храм, но после слег и уже лежал недвижимо, дозволяя братии обихаживать его непослушную, жестоко истончившуюся плоть.

Он лежал и спал или думал, перебирая в уме все, совершенное им в жизни, и вопрошал себя: дождался ли уже плодов с древа, заботливо произращенного?

Почасту, открывая глаза, видел склоненное над собою суровое лицо Стефана. Брат давно перемог свои прежние страсти, гордость и вожделение, но, кажется, сломив гордыню, сломался и сам...

В один из дней — на дворе уже вовсю расцветали травы, пели птицы, и иноки давно уже довершили работу на монастырском огороде и в поле — в келье явился Федор Симоновский. Явился как луч света или ангел добра. Отворил двери, велел жарко истопить печь, раздел донага и обмыл Сергия, не страшась и не ужасаясь видом иссохших костей, едва прикрытых изможденною плотию, выкинул, изругав послушников, истлевшую постель с гнилою соломкою внутри, совершенно не слушая Сергия, набил свежий пестрядинный тюфяк новою соломою, переодел наставника в чистую полотняную сряду, промазал медвежьим салом все пролежни, сам составил отвар, которым велел поить Сергия, наконец, все устроив, уложив погоднее жалкую, с запавшими висками и провалившимися ямами щек голову любимого учителя и дяди на мягкое взголовье, сел рядом на маленькую холщовую раскладную скамеечку, на которой сиживал Сергий, когда плел лапти или тачал сапоги, задумался, беспрепетно глядя в очи полутрупа, начал рассказывать о заботах своей обители, о том, где он был и почему не приходил раньше. После помог Сергию приподняться, дабы исполнить молитвенное правило. Уходя, долго наставлял надзирающих за игуменом, дабы творили впредь по указанному...

Сергий ждал, и вот наконец к нему явился Алексий. Владыка Руси долго сидел, не шевелясь, уложив руки на колени, глядел на эту связь костей, в живые глаза на обтянутом кожею черепе.

— Нет, я не умру! — медленно открывая уста, ответил Сергий.— Не зрю образа смерти перед собою! Господь предназначил иное... Что, не ведаю, но еще не все должное свершено мною! Я вот что думаю,— продолжил он задумчиво и тихо, и голос старца, повинуясь слабому дыханию, журчал совсем еле слышно.— Думаю, мне болеть, пока не утихнет новая пря на Руси! Что Иван Вельяминов? Что князь? А татары? А этот Киприан?

Больной спрашивал медленно, с отдышкою, но разум был ясен в этом теле, и Алексий, преодолев наконец ужас возможной жестокой потери, начал говорить, объяснять, рассказывать. Сергий слушал и не слушал. Сказал вдруг, без связи со спрошенным:

— Будет война! Смерды опять погибнут! Не может человек...— Он не договорил. Алексий, похолодев, склонился над телом.

— Чего не может? (Неужто умер?!) — Но Сергий спал, у него просто окончились силы, и он спал, тихо вздыхая во сне. Алексий замер, не смея мешать спящему, и долго и неподвижно сидел рядом с ложем, без мысли, опустошенный до дна. Сергий надобен был ему, как самая основа духовного бытия. Пока Сергий был, существовал, сидел в своем лесу,— все содеивалось и все было возможно. Его охватил ужас.

— Господи! — воззвал он.— Не сотворяй мне еще и этого испытания!

Алексий вдруг понял, что он, проживший восемь десятков лет и переваливший на девятый, не приуготовил себя к гибели. Вернее, когда-то был готов, ежечасно готов оставить земное бытие, но в делах, в суете, под бременем забот государственных, утерял готовность свою и теперь растерян и угнетен видением смерти!

Солнце никло, свет мерк, и в келье становилось темно. Алексий не уведал, когда Сергий пробудился от сна, и вздрогнул, услышав его голос:

— Ныне покончишь с Михайлою, токмо не мсти ему! И отпадут тверские заботы твои, владыко! Это долит, это тревожит и держит тебя на земли! Нет, я не умру, Алексие! Не страшись! Восстану, когда минует беда! Говорю тебе: нету образа гибели передо мною, и ангел смерти еще не садился у ложа моего! Если бы люди умели ждать и терпеть! Не стало бы войн, злодейств, мучительства... Скажи, Алексие, будут ли когда-нибудь люди — все люди, а не одни лишь иноки — такими, как мы с тобою? Или плотская тварная жизнь всегда грешна и такою пребудет вовек?

— Того не ведаю! — тихо отозвался Алексий.

— Возможно,— продолжал Сергий,— надобно побеждать... ежечасно, всегда! Но не победить всеконечно... Ибо в этом, наверное, и есть искус жизни: в постоянной борьбе со злом!

Сергий утих, выговорившись. Сумрак, все больше сгущаясь, заливал келью. А Алексий с пронзительной остротою понимал, что все его дела, свершенья и замыслы без этого полумертвого инока — ничто.

Глава 59

Михайло Тверской воротился из Литвы в самом начале июня и начал собирать рати. Через месяц с небольшим (13—14 июля) прибыл из Орды Некомат с татарским послом Ачиходжою и с ярлыком от Мамая и хана на великое княжение владимирское. Михайло тотчас отправил Дмитрию взметную грамоту, слагая крестное целование, а на Углече Поле и в Торжок послал своих наместников с вооруженною ратью. Так началась последняя тверская война, самая короткая и, быть может, самая яростная из всех предыдущих.

На этот раз, наконец, москвичи оказались готовы вовремя. Дружины уже были собраны, полки уряжены, и князья ждали только приказа, дабы выступить тотчас, не стряпая.

Гонец со взметною грамотою достиг Москвы семнадцатого числа. Дума собралась немедленно, и уже через несколько часов во все концы понеслись, насмерть загоняя лошадей, конные вестоноши. Глухой топот копыт, пролетающий, взвихрив пыль на дороге, одинокий всадник. Война! Баба у колодца роняет кленовое ведро, стоит, глядя из-под ладони вдаль: какая, с кем? Неужто татары?!

Двадцать девятого июля «князь великий Дмитрий Иванович, собрав всю силу русских городов и со всеми князьми русскими совокупяся... с Волока пошел ратию к Тфери, воюя волости тверьскыя» — записывал тогдашний летописец. Следовательно, двух неполных недель хватило на сбор войск и на их подход к Волоку-Ламскому?

С московскою и коломенскою ратью Дмитрия (от Коломны до Волока более двухсот верст) шли князья — «кождо от своих градов и со своими полкы»: тесть его, князь Дмитрий Костянтиныч Суздальский (от Нижнего до Волока более пятисот верст), князь Владимир Андреевич (от Серпухова до Волока двести верст), князь Борис Костянтиныч Городецкий (от Городца тоже пятьсот верст) и князь Дмитрий Костянтиныч Ноготь-Суздальский, князь Андрей Федорович Ростовский (триста пятьдесят верст), князь Семен Дмитрич, князь Иван Василич Смоленский (тоже триста — четыреста верст), князь Василий Васильич Ярославский (четыреста с лишком верст), князь Роман Василич Ярославский, князь Федор Романович Белозерский (шестьсот верст!), князь Василий Михалыч Кашинский, князь Федор Михалыч Моложский (четыреста пятьдесят верст), князь Андрей Федорыч Стародубский (поболее двухсот верст), князь Василий Костянтиныч Ростовский, князь Александр Костянтиныч, брат его, князь Роман Михайлович Брянский (пятьсот верст), князь Роман Семеныч Новосильский (четыреста верст), князь Семен Костянтиныч Оболенский, князь Иван Тарусский и вси князи русстии, киждо со своими ратьми и служаще князю великому, и окружная места тяжко плениша...»

Иными словами, выступили все владимирские князья и большая часть князей так называемых верховских княжеств, расположенных за Окою.

Когда складываешь все эти цифры расстояний, делишь на количество дней, на среднюю скорость движения даже конницы с обозами (сорок — сорок пять верст в сутки), становится ясно одно: почти никто из союзных князей за две недели второй половины августа не то что подойти, но и собрать полков попросту не успел бы. Ни из Городца, ни из Нижнего, ни из Ярославля, не говоря уже о Белозерске или Новосиле. А мы, прикидывая расстояния, не учли еще всех извивов и неровностей пути, переправ и иных задержек. И это не были легкие конные дружины, это была действительно огромная армия, которая «тяжко облегла» Тверь. То есть в походе участвовали пешие полки, городовая рать, а возможно, и сельское ополчение. Решительно никак не получается, чтобы подобная армия собралась в указанный двухнедельный срок! А значит, ратные силы Владимирской земли уже были собраны, и сбор их начался, по крайней мере, вслед за убийством Сарайки, то есть за четыре месяца до начала войны. Но вот вопрос: против кого они изготовились? Ольгерда? Мамая? Ведь о ханском ярлыке Михаилу еще никто ничего не знал! Как и о том, что способны натворить сурожский гость Некомат с Иваном Вельяминовым! (И почему, кстати, Иван остался в Орде, где продолжал зваться московским тысяцким?!)

Конечно, москвичи могли ожидать, невзирая на заключенный мир, нового Ольгердова набега еще весною, когда Михайло уехал в Литву. Еще вероятнее было ожидать нашествия Мамая в отместье за уничтожение своего посольства. Хотя вряд ли затевался русичами в ту пору крестовый поход против Орды — как полагают иные исследователи, своих бед хватало на Руси! Да и долгие пересуды на княжеском сойме говорят скорее о желании заключить мир с Мамаем, чем о жажде повести ратников в ордынские степи. И все же полки были собраны. И ждали боя. С кем?

Тайная дипломатия Рима и Генуи, развязавшая эту войну, не учла суровой решимости русичей в любом случае воевать за свою землю и отстаивать духовные идеалы Родины. Ожидали, что все произойдет так же, как в Византии. Слишком многого ждали от измены тысяцкого. Медлили с помощью.

Но москвичи на сей раз, наученные опытом предыдущих литовских набегов, обогнали всех, не давши врагам выступить совокупными силами. Ни Мамай, ни Ольгерд попросту не успели бы вмешаться (да и не очень хотели, как прояснело впоследствии!), ибо за те полтора месяца, в которые все и началось и закончилось, собрать большие армии и повести их за тысячу верст на Москву было бы невозможно.

Две недели (только-только домчать до Орды!) на выступление войск. Первого августа был взят приступом всех ратей Микулин, и уже повели в полон захваченных горожан. А пятого августа, на заре, в канун Спасова

дня, Дмитрий с войсками уже подступил к Твери, сжег пригородные посады и церкви, разорил села по волости и восьмого, через три дня, на память святых мучеников Дементия и Емельяна, в среду утром, подведя туры и сделав примет у стен, от Тьмацких ворот повел приступ к городу.

Глава 60

Онисим с тяжелым сердцем покидал на сей раз родимые хоромы. Мнилось, и не узрит больше! То ли погибнет сам, то ли деревню сожгут. Шел вдвоем с Федором. Коляню и подросшего Ванчуру сорок раз предупреждал:

— При первой вести о московитах гоните скотину в Манькино займище и сами туды схоронись! С добром, со всема! Сруб у меня поставлен на болоте, засеки поделаны, ни един черт не найдет! Ты, Недаш, и с Колянею, гляди, парня какого в сторожу посылай! — И еще издали, привставая в седле, прокричал: — Телегу! Телегу с собой забирай! — Представил, как погонят телегу чужие ратники, груженную его же добром, запряженную Онькиной лошадью, да поведут назади связанных Таньшу с девками — худо сделалось! Ехал, вздыхал. Федор поглядывал сбоку на отца. Ражий парень, видный, а оженить за боями да за походами так и не успел! Убьют — хоть корень оставил бы на земле, паренька там али девоньку... Сзади топотали кони двоих Недашевых. Четверых ратников (и у двоих — брони!) посылала деревня на защиту Твери.

Когда переправились в город, уже все толковали о подходе московских ратей. День и ночь скрипели возы, спешно свозили остатний хлеб из деревень. Тут бы жать! А какое жнитво — по всем дорогам конная сторожа, Села — вымерли. В город спешно завозят сено, гонят и гонят скотину, и уже тесно от нее становит по дворам.

— Война все съест! — толкуют бывалые ратники.

Онисим, как и другие пожилые ополченцы, занял место в городском полку, на защите стены, со стороны Дмитровской дороги. Федор, как ни берег Онька парня, оторвался на сей рез от родителя-батюшки, наряженный в конную полевую сторожу.

Пятого августа, утром, из дальних лесов начали выливаться полк за полком московские рати. С высоты стен видно было: словно бесчисленные муравьиные рои ополэали город. Как-то враз и зловеще вспыхнули хоромы в загородье. Комонные московиты — вот они! Уже подскакивали к стенам, пускали стрелы. Одного непроворого задело-таки, высунулся из-за заборол. Раненого отволокли вниз, отдали жонкам-знахаркам...

Онька извелся в этот день, все гадал о Федоре: жив ли? Тверская конная рать выходила в поле, в сшибках — видать было со стен — являлись и раненые и убитые. Поздно уже он отпросился у боярина. Долго разыскивал, пока наконец в какой-то клети у Тьмацких ворот, среди вповалку спящих молодцов, не отыскал Федора. Потискав за плечи спросонь плохо понимавшего что сына, Онисим отправился назад. Его окликали дозорные, прошали грубо, почто шастает ночью.

Воротясь к своим, Онисим влез по ступеням на заборола глянуть в ночь. Костры горели, точно россыпь светляков, по всему окоему. Сила к городу подошла несметная.

На другой день продолжались сшибки, москвичи разъезжали вдоль городских стен по-за валом. Там и тут реяли княжеские стяги. Вся сила Владимирской земли и верховских княжеств собралась под стенами Твери.

Приступ начался утром на третий день осады. Там, у Тьмацких ворот, нарастал и ширил натужный крик, медленно, колыхаясь, двинулись осадные башни. Воздух затмило от мельканья летящих туда и оттуда стрел.

Уже лезли по примету наверх, уже волокли лестницы, уже тяжким, с окованною вершиной, бревном, подвешенным на цепях, готовились расшибать ворота, как створы их отворились сами и, не видные отсюда, навстречу московитам высыпали тверские конные дружинники. Онька, не ведая, что с сыном, стоял и молча молился. Бой кипел уже у осадных тур.

Федор, Онисимов сын, был в спешенной стороже у самых ворот. Когда створы их отворились и мимо него, пригибаясь в седлах и все убыстряя и убыстряя бег, прошла на рысях тверская кованая рать — «Князь! Князь!» — раздались голоса, Федор вытянул шею.

— Где? Который?

— Вон! В корзне! На карем коне! Рать ведет!

Михаил, и верно, скакал в рядах своей дружины и, вырвавшись из узости ворот,— копыта гулко и глухо протопотали по дереву мостового настила — вырвал из ножен саблю и ринул первым в гущу осаждающих москвичей. Сабля его; прочертив молнийный след, ударила в мягкое, потом проскрежетала по вражескому шелому. Противники вспятили.

— Поджигай! — бешено орал Михаил. Сзади бежали пешцы, полк Федора вступал в бой. Ратники топорами рубили туры. Михайло в разорванном, взвихренном корзне уже рубился напереди. Битва ширилась. Все новые и новые тверские дружины выбегали и выезжали из ворот. Две осадные башни уже пылали.

Федор, обеспамятев, рвался вперед, за князем, не усмотрев, что пеший полк остался назади и начал втягиваться назад, в ворота. Михайло скакал по полю, все так же бешено врезаясь в ряды москвичей, дружинники неслись вослед своему князю. Вдруг сбоку, слева, прихлынула иная рать. Федор оборотился, вздевши топор, ударил кого-то, был сбит с ног, через него бежали, спотыкались, прыгали. Он поднялся на четвереньки, яро рыча, хотел было встать, но тут на него налетел какой-то молодой парень в кольчатой рубахе и шишаке, схватил Федора за шею, и они оба покатились покатом в истоптанную траву. Рядом рубились, отступали, напирали вновь, а эти двое, грызя друг друга, не в силах дотянуться и до ножа, все катались по земле, пыхтя, добираясь до глаз и до горла.

— Грызи меня, грызи! — яростно бормотал Федор, постепенно освобождаясь. Парень был молод противу него, да увертлив, и все не удавалось заломить ему руки за спину. Он было и перемог, но парень, нежданно извернувшись, вырвал нож и ткнул в руку ниже короткого рукава кольчатой рубахи. Федор споткнулся, и тут его ударил под дых сапогом какой-то московский ратник.

— Не трожь, мой! — яростно закричал парень в

кольчуге, замахиваясь ножом на ратника, и стал крутить руки Федору арканом. Завидя, что у того льется кровь, парень грубо перевязал ему предплечье и погнал перед собою, уводя полоняника в свой стан.

Скоро они достигли коноводов с оседланными конями. Парень, боярчонок видно, заметил наконец, что Федор вовсе не может идти и начинает валиться наземь. Поднял его, довел до коня, которого держал какой-то густобородый, самого мирного вида мужик, который тут же достал целебной травки, распорол рубаху на Федоре и перевязал ладом раненую руку. Парень, видя, что кровь все идет, даже перепал немного, видно, боялся потерять захваченного полоняника. Федора посадили на коня, арканом, чтобы не убежал и не упал, привязали к седлу. Парень, кивнув мужику, устремил снова в бой, а Федор, безнадежно оглядываясь назад, поволокся куда-то в глубину московского стана. «Прощай, батяня!» — вымолвил он, ощутив невольную мокроту глаз.

К вечеру бой у ворот начал стихать. Москвичи отступили, оставив истоптанное, покрытое трупами поле, а тверичи, уничтожив и изуродовав туры, тоже отошли назад, в город. Князь до самого вечера дрался в гуще сражения, прикрывая отступленье своих полков. Уже когда в сумерках протяжно затрубили рога и начал затихать бой, он оглянул еще раз смутное кровавое поле и строящиеся вдали ряды московских дружин, поднял над головою кровавую саблю, погрозил ею туда, во тьму, и въехал в город на шатающемся, в пене, загнанном скакуне. Нет, он не искал в этот день смерти! Но и жизни своей не щадил, понимая, что за каждого сраженного ратника, за каждого людина, уведенного в полон, отвечать пред Господом придется ему одному.

На второй приступ москвичи уже не рискнули. Отступивши со всех сторон от городских стен, они начали рыть канаву и ставить острог, окружая Тверь полукольцом укреплений. Тверская рать выходила в поле еще не раз, завязывались стычки, все более трудные для осажденных. Наконец стена из заостренных кольев и легких башен с навесами и бойницами для лучного боя опоясала Тверь. Москвичи подогнали собранные по берегу лодьи и на судах навели два моста через Волгу, выше и ниже города, заняли Отрочь монастырь и полностью окружили город. Осадою явно руководил опытный в ратном деле муж, один или несколько, почему в результате полутора недель муравьиной работы всего войска Тверь была окружена и замкнута так, что даже гонцы с великим трудом прорывались в город и вон из города.

На четвертый, пятый ли день после отбитого приступа к Твери подошла собранная с великою поспешностью новогородская рать. Бояре Великого Нова Города мстили за разграбленный Торжок.

Посланные в зажитье рати пустошили Тверскую волость, стадами угоняя скот, целыми деревнями уводя полоняников. Михаил ждал, надеясь на обещанную помочь. Проходил август — подмоги не было. Потом от пробравшихся сквозь московские заставы слухачей вызналось, что литовская рать подходила было к Твери, но, нарвавшись на сильные московские заслоны, отступила, не принявши боя. Последняя надежда рухнула, тем паче, что и из Орды не было радостных вестей. Мамай медлил. Быть может, не мог собрать ратных, быть может, его задерживали Черкес или Тимур, но не было помощи и из Орды. (А когда она подошла, было уже слишком поздно, и Мамай тоже не решился напасть на Дмитрия, ограничившись новым грабежом окраин нижегородской земли.)

Проходили дни. Редкий без какого-нибудь приступа. Ратники исхудали и почернели от недосыпа. Город изнемогал. Шел уже двадцатый день осады, и, кроме новых и новых сведений о грабежах и погроме тверской земли, князь не получал никаких иных вестей. Фряги обманули его! Обманул и Мамай, обманул и Ольгерд. Все они отступились от обреченного города.

Михаил сам обходил стены, дома почти не спал, раз за разом кровавил саблю и видел, что личное мужество — ничто там, где дерутся друг с другом тысячи.

Его берегли. Многажды грудью защищали от направленных в него стрел. И все-таки Михайло чувствовал себя предателем. Он предал Тверь, обрек на уничтожение, плен, голод и смерть свою волость, и — ради чего?

Онисима, давнего своего знакомца Михаил повстречал случайно и сперва не узнал прежнего Оньки в старом, перевязанном кровавою заскорузлой тряпицею и уже седом мужике. Поседел Онька, узнавши о гибели второго сына.

Встретив князя, он робко поклонился ему, намерясь отступить в сторону. Князь, в броне и шеломе, стоял перед ним, вглядываясь в лик ратника слепым, невидящим взором.

— Это я, Онька! — решился подать голос мужик.

— Онька? Онисим! — бледно усмехнул Михайло, припоминая, и вдруг померк. Горячею горечью окатило сердце.— Ты что? — вопросил он.

— Сына потерял! Второго! — просто ответил ратник. Они молчали, стоя друг против друга. Говорить было не о чем. Смеркалось. Изредка над головою посвистывали стрелы.— Чую, что и нашу сторону пограбят тою порой! — осмелев, видя, что князь не уходит, высказал Онисим и снова умолк.

— Помочи нет и не будет! — ответил Михайло сурово. И поднял светлые, отчаянные, все еще молодые глаза: — Ольгерд не придет!

— А Мамая, того и вовсе не надо бы — раздумчиво, покачав головою, возразил Онька.— Как уж опосле Щелкановой рати...— Он не докончил. Михайло понял его, кивнул головой. У него застрял ком в горле. Он не мог пережить плена единого сына, а тут — двое, и, верно, пока этот ратник стоит с ним на стене, охраняя княжеский город, новгородские ратные пустошат Онькину деревню, забирают в полон семью, бесчестят дочерей, угоняют скотину...

— Что делать, Онисим, скажи?! — выкрикнул он.

— Что ж молвить тебе, княже?! Надобно, изомрем! А токмо, ежели помочи не добыть ниоткуда,— мирись! Рано ли, поздно, а перед такою громадою войска — не устоять! Видать, не наше теперича время!

Князь молча, опустив голову, прошел дальше по стене. Так и не понял Онисим, то́ ли слово молвил Михайле, по нраву ли? И внял ли ему, не огорчился ли князь?

Но еще два дня спустя ворота отворились, и из города выехали с белыми платами в руках совлекшие с себя шеломы всадники. Они толпою окружали епископа Евфимия, который шел пеший, вздымая в руке большой напрестольный крест. Начались переговоры о мире. Было уже первое сентября. В Твери и в ставке великого князя московского подписывались грамоты, бояре ездили туда и сюда, утихла перестрелка.

В грамоте, которую вновь перечитывал Михаил, начинавшейся словами: «По благословенью отца нашего Алексия, митрополита всея Руси», его, Михаила, называли молодшим братом великого князя московского, обязывали «блюсти и не обидети» вотчины великого князя Дмитрия и земли Великого Новгорода, «не вступати» в Кашин и в то, что «потягло к нему». Уряживались дела порубежные. К чести Дмитрия и его руководителя, владыки Алексия, они не отбирали у Михайлы тверских волостей, оставляли волю всем боярам, избравшим того или иного князя, и лишь для двух человек, Ивана Вельяминова и Некомата, делалось исключение. Села их великий князь забирал под себя. Михаила обязывали давать путь чист новгородским гостям, не накладывать на них и не изобретать новых вир и пошлин. И выступать заедино с братом своим старейшим против татар или Ольгерда, с которым его обязывали порвать прежний ряд.

«Вот и окончено!» — думал Михайло с тяжелым горьким отчаянием, понимая, что, заключив этот ряд, он уже никогда, ни в какие самые несчастливые для Москвы годы, не восстанет на Дмитрия и не захочет переиграть историю и судьбу. Кончено! Ныне он отрекается от всего: борьбы, гнева и злобы, гордой мечты быть первым в русской земле, мечты, потребовавшей слишком большой, уже не оплатной ничем кровавой дани. Кончено! Как написано в грамоте — «всему сему погреб!». И завтра он поцелует крест «к брату своему старейшему Дмитрию» за себя, и за сына Ивана, и за весь род, навсегда уступая Москве великое владимирское княжение и превращаясь, опять же навсегда, в «молодшего брата» — подручника московского князя. На этих условиях до поры ему и его детям оставляли их отчину, Тверь с волостьми, градами и селами, «иже к ней потягло», и право жить дальше. Ему и Оньке. Восстанавливая порушенное добро.

Третьего сентября, заключив мир, московские рати отступили от города, расходясь «коиждо восвояси».

МОСКОВСКАЯ РУСЬ НА ПЕРЕЛОМЕ

Новый роман Дмитрия Балашова

Известная серия романов Д. Балашова «Государи Московские» получила пополнение — шестую книгу под названием «Отречение». Хронологически она охватывает полтора десятилетия: от смерти Константина Васильевича, великого князя суздальско-нижегородского, деда Евдокии Дмитриевны, известной в летописях как жена Дмитрия Донского, до знаменитой Тверской войны 1375 года, в значительной степени подготовившей то, что произошло пять лет спустя на поле Куликовом — в смысле объединения сил северо-восточной Руси для решения задач, имевших общенациональное значение. Важнейшими из них были две — объединение русских земель и борьба с Ордой.

К тому времени русские земли уже столетие с четвертью стонали под ярмом иноземного господства — со времен «Батыева нахождения» на Русь и установления ига Золотой Орды. Удельная раздробленность царила на Руси и того более на целое столетие. Распад Древней (Киевской) Руси на полтора десятка княжеств и республик способствовал развитию в них хозяйства и культуры, но в то же время привел к ослаблению в политическом и военном отношении. Начались усобицы, столкновения между князьями; все труднее было объединять их усилия в борьбе против нападений из-за рубежей Руси.

Именно это явилось одной из причин завоевания русских земель монголо-татарами. Режим террора, с помощью которого ордынские ханы и мурзы держали Русь в повиновении в течение двух с половиной столетий, тормозил развитие Руси, консервировал ее отсталость. Известно, что до Батыева нашествия русские земли достигли довольно высокого уровня развития и в хозяйстве и в культуре, нередко опережая страны Западной Европы. В юго-западных и северо-западных пределах Руси (Галицко-Волынское и Владимиро-Суздальское княжества) наметились тенденции к объединению земель. Ордынское иго положило всему этому конец, более того, отбросило Русь назад.

Вторая половина XIII — первая половина XIV столетий исполнена тяжкого труда и тяжкой борьбы русичей за восстановление разрушенного завоевателями и отражение бесчисленных карательных набегов и грабежей со стороны ордынцев. Летописи сообщают, как после «недоумения в людях», случившегося после страшных погромов Бату-хана, русичи начали строить на пепелищах новые избы и хоромы, распахивали заброшенные земли и новые участки — «чисти», «росчисти», основывали деревни — «починки», «рядки», а позже и городки. На Руси переписывались рукописи — русские и греческие, болгарские и сербские. Возобновлялись ремесла, летописное дело, каменное строительство.

Вынужденные собирать и отвозить в Сарай-Бату, а потом в Сарай-Берке (ханские ставки на Нижней Волге) «дани-выходы ордынские», давать кормы и подводы ханским чиновникам, поставлять воинов в войско Орды, русские князья и их подданные, когда это было возможно, давали вооруженный отпор татарским «ратям» — карательным экспедициям, которые обрушивались на Русь, и довольно часто, после Бату-хана. Правда, эти «рати» приводили нередко сами же русские князья, борясь со своими собратьями-противниками за власть и

земли. А ханам это и надо было: стравливая князей, они ослабляли Русь, укрепляли и продлевали свое господство. Некоторые из русских князей и бояр, например из ростовских вельмож, шли на прямой сговор с Ордой, предавали интересы отчей земли.

Ко второй половине XIV века (время действия романа Д. Балашова) Русь во многом изменилась. Часть ее земель попала в результате ордынского нашествия и набегов западных соседей под господство Литвы (Великого князя Литовского), Польши, Венгрии. Это юго-западные и западные земли — бывшие Галицко-Волынское, Киевское, Переяславское (Переяславля-Южного), Черниговское, Турово-Пинское, Полоцкое, Смоленское княжества.

В северо-восточных и северо-западных землях (Владимиро-Суздальское, Рязанское, Муромское княжества. Новгородская и Псковская республики) за прошедшее столетие в значительной степени были восстановлены хозяйство, культурная и духовная жизнь. Особенно следует выделить Владимир, политический и религиозный центр Руси, и Новгород Великий с его обширными и богатыми землями, активной торговлей, оживленной городской жизнью.

Князья вели борьбу за овладение владимирским столом и тем самым за власть над всей Русью. В этой борьбе схлестнулись многие правители — и из старых центров, и из новых, выделившихся из Владимиро-Суздальского княжества в ходе удельного дробления. Это были князья тверские, московские, суздальско-нижегородские и их удельные собратья.

Со времен Ивана I Даниловича (Калиты), умершего в 1340 году, определился перевес московских князей, и после него Владимирское великое княжение, с небольшими перерывами, оставалось за ними. По сути дела, их княжество можно было именовать московско-владимирским. Именно Москва, несмотря на противодействие тверских, нижегородских властителей, все больше становилась центром объединительных стремлений русских людей. Немалую роль сыграли удобное географическое положение Москвы; рост населения, спасавшегося в ее лесных чащобах от татарских «ратей»; труд пахарей и ремесленников; усилия политиков и духовных пастырей. Общими совокупными деяниями народа выявлялась историческая целесообразность, закономерность — последовательное, несмотря на все случайности, зигзаги и повороты повседневной жизни, движение людей к более высокой форме объединения национальных сил и структур, противодействие всему тому, что этому мешало и на Руси, и за ее пределами.

К 60-м годам XIV века Русь подошла с определенным «запасом прочности», а очередной разлад в Золотой Орде способствовал рождению на Руси новых замыслов и возникновению целей, до того немыслимых.

В конце предыдущего десятилетия на московский престол взошел (1359 г.) девятилетний князь Дмитрий, сын Ивана Ивановича Красного, внук Калиты. Собственно, вокруг этого мальчика-правителя, его ближайшего окружения, а также противостоящих им сил и сфокусировано действие романа. В поле зрения автора — целый конгломерат событий, драматических, героических, славных и бесславных, которые происходили на Руси и в окрестных государствах в те памятные полтора десятилетия. Это борьба за политическое первенство между Москвой, с одной стороны, и тверскими и суздальско-нижегородскими князьями — с другой; взаимоотношения Москвы с Золотой Ордой, Рязанью, Новгородом Великим; происки Ватикана и Константинопольской патриархии; троекратная «литовщина» (конец 60-х — начало 70-х годов), вооруженные столкновения с Тверью и Нижним Новгородом, с Ордой на южных окраинах Руси.

В числе главных героев Д. Балашова — духовные пастыри, игравшие на Руси огромную созидательную роль. На первый план выдвинута в романе фигура митрополита Алексия, крупнейшего церковного и государственного деятеля. В изображении автора он — фактический руководитель Московско-Владимирской Руси, наставник юного князя Дмитрия Ивановича, образец человека высокой нравственности и духовной мощи. Именно на него возложена историей миссия водительства народа: сквозь бури человеческих страстей, неурядиц, честолюбий и стяжаний убежденно и неуклонно ведет он государственный корабль к великой цели — объединению Руси. Он добивается в Орде ярлыка для своего питомца, мирит князей-соперников, подчиняет их Москве, причем подчас, в стратегических целях, берет грех на душу (арест князя Михаила Тверского, в нарушение своей же клятвы).

С не меньшей любовью выписана в романе фигура Сергия Радонежского, троицкого игумена, простого и скромного в своем монашеском подвижничестве, приобретшего еще при жизни высочайший авторитет во всех слоях народа.

Сергий Радонежский внес свою духовную лепту в очищение человеческих помыслов и объединение человеческих душ во имя созидания Московской Руси. Я уверен, что читатели, интересующиеся прошлым Отечества, с большим удовлетворением прочитали страницы романа, описывающие пешие походы отца Сергия в Нижний Новгород (для примирения его князей с Москвой), в Серпухов (ради основания монастыря), его беседы с митрополитом и учениками.

Автор романа охватил своим художническим взором все стороны жизни эпохи Дмитрия Донского и Сергия Радонежского, всех созидателей и собирателей Руси, все жизненные коллизии и противоборства, сопровождавшие длительный, мучительный и такой важный для всего народа процесс объединения национальных сил для противостояния Орде и иным недругам. Из этого процесса одни вышли победителями (Москва во главе с митрополитом Алексием и князем Дмитрием), другие (прежде всего князь Тверской Михаил) потерпели поражение. Такова была логика борьбы за политическое первенство, логика истории. Тверской правитель, честолюбивый и неуемный, талантливый и энергичный, должен был уступить, отречься от притязаний на владимирский стол и связанных с этим расчетов на славу и власть над всей Русью. Отсюда и название романа — «Отречение». Следуя ходу событий, можно было бы ожидать, что именно Михаил Александрович Тверской окажется в центре повествования. Он действительно нарисован крупными, сильными мазками на историческом полотне романа. Но все же, подчиняясь неумолимому голосу истории, автор выдвинул на первый план Москву и ее руководителей — митрополита Алексия и князя Дмитрия. Причем в этом дуэте роль «первой скрипки» исполняет старый

и мудрый владыка, а вторую, подчиненную,— юный московский правитель. Дмитрий в изображении автора говорит и действует даже и в более зрелом возрасте подчас неуверенно или же, напротив, по-мальчишески самоуверенно, а в итоге несамостоятельно. В этом случае излишне непререкаемо звучит извечный церковный тезис: «Священство выше царства». А ведь московский князь был, вероятно, не таков, чтобы умалять свое достоинство как правителя даже в отношениях с иерархами. Об этом говорят многие факты его жизни: приближение ко двору Митяя из Коломны, которого он впоследствии хотел видеть митрополитом всея Руси, конфликт с Киприаном, настойчивым претендентом на этот духовный престол. Правда, все это происходило уже после кончины Алексия.

Роман отличает хорошее знание эпохи, идущее от источников. За описаниями событий, характеров и поступков героев зримо видны страницы летописей и сказаний, житий святых и посланий, древних «харатий» и трудов историков. Подобный фундамент точного исторического знания позволяет автору выстроить прочное здание романа, многопланового, населенного многими людьми, в широком смысле — народом Руси XIV столетия. Но его сочинение — не научно-историческое разыскание, а произведение художественное, стоящее на фундаменте исторических фактов.

В наши дни историческая проза переживает подъем. В бурном потоке исторических романов, повестей, рассказов, хроник и документальных очерков романы Дмитрия Балашова выделяются масштабностью, панорамностью изображения, прекрасным знанием материала, глубиной анализа и художественного мастерства. Публикуемый роман — прекрасный вклад в отечественную историческую прозу.

В. И. БУГАНОВ,
доктор исторических наук, профессор

Дмитрий Михайлович Балашов

ОТРЕЧЕНИЕ

Роман
Окончание

Учредители: ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ «РОМАН-ГАЗЕТЫ»,
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ПЕЧАТИ,
СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Редактор *Г. Панкратова*
Художественный редактор *А. Моисеев*
Корректоры *Г. Володина, О. Наренкова*

Иллюстрации *Л. Хайлова*
Технический редактор *Н. Кошелева*
© Фото *Н. Кочнева*

Сдано в набор 05.03.91. Подписано в печать 26.04.91. Формат 84×108¹/₁₆. Бумага газетная. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 6,72. Усл. кр.-отт. 7,98. Уч.-изд. л. 8,83. Тираж 2 886 000 экз. (1-ый завод 1 — 2 386 000 экз.) Заказ 395. Цена 1 р. 10 к.

Адрес редакции: 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19
Адрес типографии: Ордена Трудового Красного Знамени Чеховский полиграфический комбинат Государственного комитета СССР по печати. 142300, г. Чехов Московской области

Рукописи ранее не опубликованных произведений редакцией не принимаются и не рассматриваются.
Во всех случаях полиграфического брака просим бракованные экземпляры отсылать для замены в типографию, где печатался данный экземпляр..

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

В «Роман-газете» № 24 за 1990 год мы обратились к вам с просьбой назвать наиболее интересные, на ваш взгляд, произведения из числа опубликованных в нашем журнале в 1990 году.

Благодарим за присланные ответы и сообщаем о результатах опроса.

Наибольший читательский интерес вызвали следующие книги.

Валентин Пикуль, «Честь имею. Исповедь офицера российского Генштаба».

«Предлагаю в память о прекрасном русском писателе Пикуле В. С. ежегодно печатать одно из его произведений, не опубликованных ранее в «Роман-газете» (В. Ф. Большаков, Москва).

Олег Волков, «Погружение во тьму. Из пережитого».

«Перечитал массу произведений, касающихся событий 30—40—50-х годов, связанных с периодом репрессий. Считаю лучшим, правдивым, человечным и благородным «Погружение во тьму» (К. В. Шифрин, Белгород).

Дмитрий Балашов, «Ветер времени».

Роман Д. Балашова, входящий в серию «Государи Московские», стоит на третьем месте по количеству восторженных отзывов.

Мария Глушко, «Мадонна с пайковым хлебом».

«Восхищена. Жизнь, которую мы пережили в войну» (Э. В. Колтунович, Тамбов).

Высоко оценен роман **Сергея Алексеева «Крамола»** («Потряс С. Алексеев своей «Крамолой». Такого мы еще не читали!» (Г. С. Яковлев, Минск), с удовлетворением принята публикация таких произведений, как **«Москва, 41-й» Ивана Стаднюка, «Тридцать пятый и другие годы» Анатолия Рыбакова, «Экспансия» Юлиана Семенова, «Отречение» Петра Проскурина, «Нюрнбергские призраки» Александра Чаковского.**

На книгу **Дмитрия Волкогонова «Триумф и трагедия. Политический портрет И. В. Сталина»** редакция также получила большое количество положительных отзывов.

Некоторые читатели отмечают только одну книгу, которая им полюбилась особенно. Это **«Судить Адама!» Анатолия Жукова** (за сатирический дар), **«Любостай» Владимира Личутина** (за великолепное владение языком), **«В тупике» Сабира Азери** (как книгу, имеющую воспитательное значение).

Иные читатели, высоко оценивая одни книги и гораздо ниже — другие, при этом понимают, что их мнение не обязательно является истиной в последней инстанции, и обладают достаточной культурой, чтобы тактично сказать: «Остальное не пришлось по душе» (К. П. Новиченко, Одесса).

В целом читатели дали достаточно высокие оценки нашим публикациям за 1990 год. «В последние годы «Роман-газета» предлагает, как правило, интересные произведения, из которых трудно выделить лучшие» (В. Ф. Большаков, Москва). «Спасибо за «Роман-газету»-1990» (Н. С. Степина, Пенза).

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Валерий ГАНИЧЕВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Сергей АЛЕКСЕЕВ. Юрий БОНДАРЕВ. Семен БОРЗУНОВ. Витаутас БУБНИС. Олег ВОЛКОВ. Геннадий ГОЦ. Юрий ГРИБОВ. Владимир ГУСЕВ. Владимир ДУДИНЦЕВ. Александр ЖУКОВ (ответственный секретарь). Сергей ЗАЛЫГИН. Феликс КУЗНЕЦОВ. Леонид ЛЕОНОВ. Виктор МЕНЬШИКОВ (заместитель главного редактора). Василий НОВИКОВ. Петр ПРОСКУРИН. Валентин РАСПУТИН. Леонид ФРОЛОВ.

70782

1 р. 10 к.
Цена в розницу — 2 р. 20 к.

РОМАН-14 ГАЗЕТА

В пятнадцатом номере
«Роман-газеты» —
сборник зарубежной фантастики
«Супруги, любившие уединение»